

**В**оенные  
**П**риключения

# БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА



**ЮЛИАН СЕМЕНОВ**

Политические хроники

Юлиан Семенов

**Бриллианты для диктатуры  
пролетариата. Пароль не нужен**

«ВЕЧЕ»

1964, 1971

## **Семенов Ю. С.**

Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен /  
Ю. С. Семенов — «ВЕЧЕ», 1964, 1971 — (Политические  
хроники)

ISBN 978-5-4484-7880-2

Издательство «Вече» в рамках популярной серии «Военные приключения» открывает новый проект «Мастера», в котором представляет творчество известного русского писателя Юлиана Семёнова. В этот проект будут включены самые известные произведения автора, в том числе полный рассказ о жизни и опасной работе легендарного литературного героя-разведчика Исаева-Штирлица. В данную книгу вошли романы «Бриллианты для диктатуры пролетариата», в котором Исаев успешно раскрывает дело о хищениях из Гохрана в трудные 1920-е годы, и «Пароль не нужен», рассказывающий о внедрении молодого разведчика в белогвардейское движение в Дальневосточной республике.

ISBN 978-5-4484-7880-2

© Семенов Ю. С., 1964, 1971

© ВЕЧЕ, 1964, 1971

## Содержание

Бриллианты для диктатуры пролетариата (1921)	6
Декрет совета народных депутатов	6
Москва, апрель 21-го	7
Начало начал	19
Ревельское интермеццо	26
Расстановка сил	38
В Ревеле ночью	43
Разность общих интересов	46
В Москве утром	51
К истории вопроса	59
Пути-дороги...	64
Человек и закон	78
Отец...	89
...И сын	94
О, эти русские...	98
Конец ознакомительного фрагмента.	100

**Юлиан Семенов**  
**Бриллианты для диктатуры**  
**пролетариата. Пароль не нужен**

© Семёнов Ю.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## **Бриллианты для диктатуры пролетариата (1921)**

### **Декрет совета народных депутатов**

Об учреждении Государственного хранилища ценностей республики

**СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ**  
постановил:

Для концентрации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей, состоящих из золота, платины, серебра в слитках и изделий из них, бриллиантов, цветных драгоценных камней и жемчуга, при центральном бюджетно-расчетном управлении учреждается в Москве Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран)...

*Председатель Совета Народных Комиссаров*

**В.И. ЛЕНИН**

*Управляющий делами*

*Совета Народных Комиссаров*

**В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ**

*Секретарь*

**С. БРИЧКИНА**

## Москва, апрель 21-го

– А кто там, в углу? – спросил француз.

Миша Ерошин, проводивший с журналистом из Парижа Бленером все дни, ответил, поморщившись:

– Художник... Я забыл его фамилию. Он продался большевикам.

– Талантлив?

– Бездарь.

– А рядом с ним кто?

– Тоже художник. Работает на Луначарского, лижет сапоги комиссарам.

– Здесь собираются только живописцы?

– Почему? Вон Клюев. Рядом – Мариенгоф. Тоже сволочи. Трусливо молчат, а комиссары их подкармливают.

Француз чуть улыбнулся:

– У меня создается впечатление, что ругать друг друга – типично московская манера.

Это было всегда или началось после переворота?

Миша не успел ответить: к их столику подошел театральный критик Старицкий.

– У вас свободно? – спросил он.

– Пожалуйста, – ответил Бленер, – мы никого не ждем.

Здесь, в маленьком полуподвале на Кропоткинской, недавно открылась столовая, где давали чай и кофе – по пропускам, выданным Цекубу, – ученым и творческой интеллигенции столицы. Поэтому толпились здесь люди, знавшие друг друга – если даже и не лично, то уж понаслышке, во всяком случае.

– Кто это? – бесцеремонно спросил Старицкий, разглядывая в упор француза. – Кого ты притащил, Миша?

Ерошин, испытывавший традиционную почтительность к иностранцам, заерзал на стуле, но француз добро улыбнулся и протянул Старицкому свою визитную карточку.

Критик сунул карточку в карман и спросил:

– Коминтерновец?

– Скорее, антантовец.

– Тогда бойтесь Мишу – он тайный агент ВЧК.

– Какая ты скотина, – попробовал улыбнуться Миша, – вечно несешь вздор...

– Какой же это вздор? Я от каждого буржуа шарахаюсь – даже своего, доморощенного, а уж к чужому подойти – спаси, Господь, сохрани и помилуй! Ничего, ничего, когда вся галиматья кончится, мы тебя, Миша, казним. Из соображений санитарии и гигиены.

– Вы думаете, что «галиматья» все же кончится? – спросил Бленер.

– Мир живет по законам логики и долго терпеть безумие не сможет. И дело тут не в личностях, а в некоей надмирной системе, управляющей нами по своим, непознанным законам.

– Всякие изменения в этом мире определяются личностями, – заметил француз. – Упования на заданную надмирную схему – своего рода гражданское дезертирство.

– А что ж, мне наган в руки брат прикажете?

– Отнюдь нет... Просто я стараюсь вывести для себя ясную картину происходящего...

– В России ясной картины не было и не будет: у нас – каждый сам по себе Клемансо. И потом – ясную картину только лазутчики хотят получить. Вы лазутчик?

– Всякий журналист – в определенной мере лазутчик.

– Значит, интересуется ясность... – вздохнул Старицкий и продекламировал: – «Нет смерти почетнее, как смерть на благо родины, и она не может испугать честного и истинного

гражданина». Александр Ульянов. Брат Ленина. Вот это и придет вскорости в несчастную и замученную Россию, которая поднялась – брат против брата.

– Вы предпочитаете цитировать Ульянова... Жертвенность смертников не очень вам симпатична – в личном плане?

– А по какому праву вы так со мной говорите?

– Как? – не понял француз. – Я спрашиваю. Я не понимаю, как может быть обиден вопрос, если у вас есть возможность ответить.

Бленера стали раздражать собеседники. Они строили фантастические планы, таинственно на что-то намекали и сулили скорые перемены; при этом никто из них не говорил доброго слова ни о ком из тех, с кем минуту назад дружески здоровался, а порой и целовался. Поначалу Бленер был потрясен этими беседами и уже выстроил ясную концепцию своих будущих статей: «Россия на грани взрыва». Но, встретившись с Литвиновым, который, оставаясь послом в Эстонии, был одновременно утвержден заместителем наркома по иностранным делам, француз вынужден был эту свою концепцию развалить.

– Вы спрашиваете о так называемой творческой оппозиции? – спросил Литвинов. – Есть оппозиция, смешно ей не быть. Чехов утверждал: «Кто больше говорит, чем пишет, тот исписывается, не написав ничего толком». С нами Горький, Блок, Серафимович, Брюсов, великолепная молодая поросль: Маяковский, Пастернак, Асеев, за нас Тимирязев, Шокальский, Обручев, Графтио, Губкин; с нами Коненков, Кончаловский, Петров-Водкин, Нестеров, Кандинский, Кустодиев... Им приходится порой трудно – как и всюду, у нас есть свои идиоты и завистливые ничтожества в учреждениях, занимающихся культпросветом. Но ни в одной другой стране искусство не получает той громадной, заинтересованной аудитории, которая появилась в России после революции...

Литвинов порывлся у себя в столе, бросил французам газету:

– Это ваша. Поль Надо – быть может, вы его знаете? Он из Парижа, тоже, – Литвинов снова усмехнулся, – журналист. Вот почитайте, что он пишет о нашей оппозиции, причем не болтающей за чаем, но серьезной, – об эсерах и кадетам. Он с ними в Бутырской тюрьме сидел.

Бленер взял газету и сразу же увидел отчеркнутые абзацы: «Вся камера с великой торжественностью обсуждала проблемы внутреннего порядка, как, например, назначение дневальных. Детская мания парламентаризма, обрушившаяся на всю Россию, проявлялась в бесконечных пустых речах в нашей камере. Под руководством председателя поправки сменялись контрпоправками, те, в свою очередь, – предложениями, а их уж сменяли контрпредложения. Участники этого жуткого тюремного турнира применяли методы, которые были бы излишними в Вестминстерском дворце. Арестанты терпеливо слушали эти ораторские словопрения, которые так ничем и не кончились... Через три дня в камеру с воли доставили для членов партии с.-р. корзины с продуктами. Те без стеснения стали уплетать за обе щеки. Остальные арестанты молча отворачивались, чтобы не очень страдать. Но староста не выдержал, поднялся и сказал: “Я предлагаю обсудить в заседании вопрос о социализации всех съестных припасов”. Наступило молчание. Слышалось лишь хрустение челюстей товарищей с.-р., которые принялись жевать быстрее. Наконец один из них сладким голосом произнес: Конечно, коллеги, эта идея нам симпатична, так как прямо вытекает из наших партийных принципов. Но рассудим! Намерены ли мы посягать на свободу совести? Здесь многие не разделяют наших идей, – добавил оратор, указав на старого голодного полковника, на помещика с пустым желудком и знаменитого московского адвоката, доведенного голодом до бешенства. – Заставим ли мы этих господ стать социалистами помимо их воли? Нет, товарищи! Я утверждаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса должно быть отложено”. И оратор поспешил энергично наверстать потерянное время усиленным уничтожением пищи».

– Каково? – спросил Литвинов. – Если бы писал большевик, а то ведь – ваш брат, буржуй... Нас терпеть не может, но и он сказал – после освобождения: «Лучше уж с вами, вы хоть конкретны, а те – как медузы перед штормом, неохватны и зыбки».

...И теперь, встречаясь с русскими в этом маленьком полуподвале, Бленер не мог заставить себя разговаривать с ними непредвзято: перед глазами стояла статья Надо. Он знал его – это был серьезный человек, которого легче было убить, чем заставить говорить неправду.

Когда Старицкий отошел от них, Бленер спросил:

– Он издал что-либо?

– Он неспособен написать и двух строк! Болтун. А уж если кто и есть агент ЧК – так это он, уверяю вас.

Писатель Никандров – высокий, жилистый, заметный – вошел в полуподвальчик, когда стемнело.

– Кто это? – сразу же спросил француз.

– Леонид Никандров, литератор.

– Тоже бездарь?

– Как вам сказать... Эссе, повести из древней истории, исследования о Петре Великом... Не борец, совсем не борец.

Француз представился Никандрову сам, попросив дать короткое интервью.

– Садитесь, – хмуро согласился Никандров, – только пусть спутник ваш обождет за другим столом.

– Он знает город, лишь поэтому я пользуюсь его услугами, – ответил Бленер и, чуть обернувшись, громко сказал: – Миша, спасибо, я вас на сегодня не задерживаю.

Миша угодливо раскланялся с французом и подсел да другой столик: там громко шумели поэты.

– У меня к вам несколько вопросов, гражданин Никандров. Мне хотелось бы узнать, кто, по вашему мнению, сейчас наиболее талантлив в России – в литературе, живописи, театре?

– В литературе – я, – улыбнулся Никандров. Улыбка сделала его жилистое, напряженное лицо совершенно иным – каким-то неуклюже-добродушным, открытым. – Это если по правде. В принципе я должен ответить: Бунин, Горький, Блок.

– Бунин в Париже, а меня интересует Россия.

– Бунин может быть хоть в Африке – он принадлежит только России.

– Думаете, Бунин хочет принадлежать этой России?

– А вы убеждены, что эта Россия навсегда останется этой?

– Я не готов к ответу, хотя бы потому, что сочинений Бунина не читал и знаю о нем лишь понаслышке.

– Значит, вы интересуетесь российскими литераторами лишь как фигурами в политической структуре? Тогда у нас разговора не получится.

– Я бы солгал вам, сказав, что меня не интересует политическая структура. Но я живо интересуюсь и беллетристикой.

– А я беллетристикой не интересуюсь. Я принадлежу литературе.

– Где я могу купить ваши книги?

– Меня не очень-то издают здесь...

– Я готов помочь вам с изданием в Париже.

Никандров внимательно посмотрел на французского и ответил:

– За это спасибо, коли серьезно говорите.

– Я говорю серьезно... Прежде чем мы обратимся к вашему творчеству, хотелось бы спросить о том, кого вы здесь цените из живописцев?

– Талантов у нас много. Лентулов, Сарьян, Кончаловский, Малявин... Да не перечтешь всех... А Коровин, Нестеров?!

– Я благодарю Бога, – широко улыбнулся француз, – вы первый русский, который сказал, что в Москве есть таланты.

– С кем же вы тут встречались? С этой мелюзгой, – Никандров кивнул головой на посетителей столовой, – смысла нет говорить. Сущие скорпионы. Хуже комиссаров – те хоть знают свое дело, а эти только повизгивают из подворотни. Цыкни на них – хвосты подожмут и в кусты. Но говорят – «талантов здесь нет»...

– Талантам трудно здесь?

– А где таланту легко? Конечно, таланту сложно, ибо он хочет искать свою правду, а она – всегда в нем, в его мировидении.

– Вы не согласны с Марксом – «человек не свободен от общества»?

– Не согласен. Человек рожден свободным: никто ведь не отнимал у него права распоряжаться жизнью по собственному усмотрению.

– Определенные ограничения введены и на этот счет: несчастных самоубийц не хоронят на кладбищах, только за оградой.

– После меня хоть потоп.

– Мне казалось, что литератор прежде всего думает о согражданах.

– Пусть литератор думает о себе. Но до конца честно. Это будет хорошим назиданием для сограждан, право слово.

– Вам трудно жить здесь с такими настроениями?

– Мне трудно здесь жить. Но не от настроений.

– Собираетесь покинуть Россию?

– Да. Я хлопочу о паспорте.

– Если вы дадите мне свои рукописи, возможно, к вашему приезду будет готова книга.

Никандров поднялся:

– Пойдемте из этого борделя...

На улице дул студеной ветер.

– Ни в одной столице мира нет такого уютного и красивого Лобного места, как в Москве. Знаете, что такое Лобное место? Здесь рубили головы. Заметьте: о жестокостях в истории Российского государства написаны тома, но за все время Иоанна Грозного и Петра Великого народу было казнено меньше, чем вы у себя в Париже перекокошили гугенотов в одну лишь ночь, – продолжал Никандров. – Мы жестокостями пугаем, а на самом деле добры. Вы, просвещенные европейцы, о жестокостях помалкиваете, но ведь жестоки были – отсюда и пришли к демократии. Это ж только в России было возможно, чтобы Засулич стреляла в генерала полиции, а ее бы оправдывал государев суд... Мы – евразийцы! Сначала с нас татарва брала дань и насильничала наших матерей – отсюда у нас столько татарских фамилий: Баскаковы, Ямщиковы, Ясаковы; отсюда и наш матерный перезвон, столь импонирующий Западу, который выше поминания задницы во гневе не поднимается. А потом этим великим народом, ходившим из варяг в греки, стали править немецкие царьки. Ни один народ в мире не был так незлобив и занят в оценке своей истории, как мой: глядите, Бородин пишет оперу «Князь Игорь», где оккупант Кончак выведен человеком, полным благородства, доброты и силы. И это не умаляет духовной красоты Игоря, а наоборот! Или Пушкина возьмите... На государя эпитаграммы писал, ходил под неусыпным контролем жандармов, с декабристами братался, а первым восславил подавление революционного восстания поляков... Отчего? Оттого, что каждый у нас – сфинкс и предугадать, куда дело пойдет дальше, – совершенно невозможно и опасно.

– Почему опасно?

– Потому что каждое угадывание предполагает создание встречной концепции. А ну – не совпадет? А концепция уже выстроена? А Россия очередной финт выкинула? Тогда что? Тогда вы сразу хватаетесь за свои цеппелины, большие Берты и газы, будьте вы трижды неладны...

– Я понимаю вашу ненависть к своему народу – это бывает, но при чем здесь мы? Отчего вы и нас проклиняете?

– Ну вот видите, как нам трудно говорить... Я свой народ люблю и за него готов жизнь отдать. А вас я не прокливаю: это идиом у нас такой – фразеологический, эмоциональный, какой хотите, – но лишь идиом. Русский интеллигент Париж ценит больше француза, да и Рабле с Бальзаком знает куда как лучше, чем ваш интеллигент, не в обиду будь сказано.

– Действительно, понять вас трудно. Но, с другой стороны, Достоевского мы понимали. Не сердитесь: может быть, уровень понимания литератора возрастает соответственно таланту?

– Тогда отчего же вы в Пушкине ни бельмеса? В Лермонтове? В Лескове? Мне кажется, Европа эгоистически выборочна в оценке российских талантов: то, что влазит в ваши привычные мерки, поражает вас: «Глядите, что могут эти русские!» Я временами боялся и думать: «А ну родись Гоголь не в России – его б мир и не узнал вовсе». А вот Пушкин в ваши мерки не влазит. Только его запихнешь в рамки революционера, он выступает царедворцем; только-только управисься с высокой его любовью к Наталии – так нет же, нате вам, пожалуйста, – лезет ерническая строчка в дневнике о том, что угрожал Анну Керн...

– А не кажется ли вам, что большевики замахнулись не столько на социальный, сколько на национальный уклад?

– Это вы к тому, что среди комиссаров много жидовни?

– По-моему, комиссаров возглавляет русский Ленин...

– Пардон, вы сами-то...

– Француз, француз... Нос горбат не по причине вкрапления иудейской крови; просто я из Гаскони... Мы там все тяготеем к путешествиям и политике. Любим, конечно, и женщин, но политику больше.

– Если вы политик, то ответьте мне: когда ваши лидеры помогут России?

– Вы имеете в виду белых эмигрантов и внутреннюю оппозицию? Им помогать не станут – помогают только реальной силе.

– Значит, никаких надежд?

– Почему... Политике чужды категорические меры; это не любовь, где возможен полный разрыв.

– В таком случае политика представляется мне браком двух заклятых врагов.

– Вы близки к истине... И дело не в нашей капитуляции перед большевиками: просто-напросто мир мал, а Россия так велика, что без нее нормальная жизнедеятельность планеты невозможна.

– Вы сочувствуете большевизму?

– Большевики лишили мою семью средств к существованию, аннулировав долги царской администрации. Мой брат, отец троих детей, застрелился – он вложил все свои сбережения в русский заем... Но я ненавижу не большевиков; я ненавижу слепцов в политике.

– Погодите, милый француз, вернем мы вам долги. Народ прозреет, и все станет на свои места...

– А как быть с народом, который безмолвствует?

– Народ безмолвствует до тех пор, пока он не выдвинул вождя, который имеет знамя.

– Под чье же знамя может стать народ? Под знамя того, который провозгласит: «вернем французскому буржую его миллиарды»?

Никандров вдруг остановился и тихо проговорил:

– Пропади все пропадом, господа... Я всегда знал, чего не хочу, а чего – желаю. Скорей бы вырваться отсюда... К черту на кулички! Куда угодно! Только б поскорей... Ну, вот мой подъезд. Пошли, я поставлю чаю и покажу вам рукописи...

Поднимаясь по лестнице, Бленер сказал:

– Вы первый абстрактный спорщик, которого я встретил в Москве. Все остальные лишь бранят друг друга. А вы не останавливаетесь на частностях...

– Так вы – иностранец. Вас частности более всего интересуют, общее – у вас свое... Буду я вам частность открывать! Я мою землю, кто бы ею ни правил, люблю и грязное белье выворачивать вам на потребу не стану. Я есть я, интересую я вас – милости прошу, а нет – стукнемся задницами, и адье...

Чичерин зябко поежился и накинул на плечи короткую заячью безрукавку. Левый висок тянуло долгой, нудной болью: долго сидел над документами – дипкурьеры только что привезли последнюю почту из Берлина и Лондона.

Иоффе в своем подробном донесении из Берлина писал: «Канцлер заявил мне, что он считает русско-германское сотрудничество барьером на пути политического экспансионизма Франции и экономического натиска Англии. Он считает, что главным препятствием в осуществлении плана экономического и культурного обмена будут не столько внешние силы, сколько внутренняя оппозиция со стороны мощного рурского капитала. Ратенау подчеркнул, что безответственная жестокость контрибуции, наложенной Версальским договором на Германию, позволяет сейчас изолировать крайний экстремизм германского капитала, ибо производители – рабочие и крестьяне, а также патриотически настроенная интеллигенция будут, безусловно, поддерживать кабинет в его попытках наладить равноправные отношения с великой державой – пусть даже этой державой окажется коммунистическая Россия...»

Красин сообщал из Лондона о том, как протекали его последние беседы с представителями трех ведущих сталелитейных фирм и с секретарем Ллойд Джорджа. Он писал:

«Англичане так уверены в своем могуществе, что не находят нужным скрывать узловые моменты, представляющие для них стратегический интерес. Мистер Энрайт, в частности, прямо спросил меня: «В какой мере французский капитал будет ограничен вами не только в России, но и в сопредельных странах, и как вы думаете помогать британским предпринимателям в создании барьера против возможного возрождения германской промышленной мощи?» В отличие от прошлых бесед заметна узкая конкретность в постановке вопросов, что свидетельствует о серьезных намерениях контрагента».

«Засуетились, – подумал Чичерин. – Поняли наконец, что правительство Ленина через три недели не “рухнет окончательно и навсегда”».

Чичерин вернулся к столу, поднял трубку телефона, вызвал Карахана.

– Как у нас дела с краткосрочными курсами французского и английского языков? – спросил он. – Пожалуйста, возьмите это дело под свой строжайший контроль. Нас всегда подводят досадные мелочи: признать – нас уже признают, а вот дипломатов, которые это наше признание смогут неуклонно обращать на пользу делу, – у нас, увы, раз-два и обчелся.

\* \* \*

«765. 651. 216. 854. 922. 519... 648. 726. 569. 433... 113. 578. 723. 944... 137. 649. 523. 966. 483... 465. 282. 697. 193<sup>1</sup>... 66<sup>2</sup>...»

---

<sup>1</sup> «Дзержинскому. Источники, близкие к министерству финансов, утверждают, что в России существует подпольная организация, занимающаяся хищением бриллиантов и золота. Ценности эти переправляются – или должны быть переправлены – в Ревель и Антверпен».

\* \* \*

«Дорогой Огюст! Рад, что могу с помощью друзей переслать тебе весточку. Совсем ты забыл нас. Как тетя Роза? У вас, наверное, расцветает, а здесь совсем замерзла – наш климат не для нее. Игорек занимается с утра до ночи: в вуз поступить ему довольно трудно, поскольку нет необходимого сейчас в республике трудового стажа, однако мальчик он талантливый, и мы все надеемся, что он станет истинным инженером-путейцем. Его прежнее увлечение геологией проходит: никто, кроме дяди Ивана, не может проконсультировать его в полезных ископаемых Сибири, а дядя Иван так занят своими делами, что ему не хватает времени для нормального сна. У него к тому же скачет кровяное давление от 150 до 190. И здешние доктора с этим пока ничего не могут поделать, лечим его грибной диетой – говорят, это сейчас в новинку. Насушили за лето две связки по 50 и 300 штук. Хватит этого на всю зиму, но поможет ли это Ивану – боюсь и подумать. Если сможешь – вызови к себе в Париж Лелечку на два-три месяца. Паспорт ей дадут наверняка, если ты проявишь настойчивость и докажешь необходимость ее пребывания у тебя не только как родственницы, но как человека, в совершенстве знающего твою манеру писать сольфеджио на слух, без нот. Если сможешь – перешли мне с okazji несколько банок какао. Жду твоих писем<sup>3</sup>.

Любящий тебя дядя»<sup>4</sup>.

\* \* \*

«25. 67. 41.5982. 6. 3519.4.69.416. 5. 8893. 14. 9. 6421»<sup>5</sup>.

\* \* \*

«Я, агент Угро Можайского уезда Московской губернии Волобуев Р. Р., составил настоящий акт на задержание гр. Белова Григория Сергеевича. Обстоятельства задержания: гр. Белов Г. С. прибыл на поезде из Москвы и стал приискивать себе извозчика, чтобы ехать в деревню Воздвиженку. Все извозчики были уже разобраны трудящимися, однако Белов, находясь в состоянии некоторого опьянения, достал из портфеля золотые часы луковицей системы «бр. Буре» и предложил извозчику Кузоргину Африкану Абрамовичу ихнюю крышку чистого золота, если он скинет своих ездоков и доставит его, гр. Белова, в деревню. На основании этого гр. Белов был мною задержан и доставлен в отделение ж.-д. милиции».

– Подпишитесь, – предложил Волобуев, – вот тут, в уголку.

---

<sup>2</sup> 66 – кодовое обозначение Романа, советского резидента в Ревеле – т. Шелехеса Федора Савельевича.

<sup>3</sup> «Директору фирмы Маршан, Париж. Цена, утвержденная Наркомфином на бриллианты в карат и полтора карата, – 1500 рублей. Жемчуга в нитках некруглые – от 50 до 300 рублей золотом. Жемчуга парные, круглые, а также в нитках – от 50 до 200 рублей карат. Платина оценивается по 80 рублей за золотник. Золото – по 32 рубля за золотник девяносто шестой пробы. Отказывайтесь покупать у большевиков драгоценности по их ценам; они ситуации в нашем деле не знают. Нас же здесь всего двое: Пожамчи и я. Срывайте их торговые операции: единственно это сможет вывести нас на прямые контакты с вами. В случае, если большевики, поняв невозможность реализации бриллиантов, выпустят нас в Ригу или Ревель, мы привезем с собой достаточное количество товара. Иного пути в наст. время не вижу».

<sup>4</sup> «Любящий дядя» – псевдоним главного оценщика бриллиантов Гохрана РСФСР Шелехеса Якова Савельевича.

<sup>5</sup> «Чичерину, Крестинскому. Переговоры с представителями торговых фирм Шомэ, Маршан и Тарлин окончились провалом. Предлагают мизерные суммы за бриллианты, сапфиры и изумруд. Ганецкий» (Ганецкий – посол РСФСР в Риге. Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.).

– Не в уголку, а в уголке, – поправил его Белов, – представитель власти должен грамотно выражаться. А подписывать я вам ничего не стану.

– Это как же так?

– А вот так.

– Если с чем не согласный вы – так измените, мы еще раз перепишем, а подписать положено, у нас все подписуются, когда мы забираем.

– На каком основании вы меня забрали?

– А зачем часы портить? Так часы бандюги суют, у которых законных денег нет, а только краденое народное барахло трудящихся!

– Я – ответственный работник, ясно? Лучше вы сейчас меня отпустите – тихо и по-хорошему, иначе я через Москву большие вам неприятности устрою...

– У меня на испуг нерв крученный! Пугать не надо...

Дверь милиции растворилась, и в маленькую, насквозь прокуренную комнату милиционер ввел двух женщин-нищенок с грудными детьми. Мальчишка и девчонка лет пяти держались за юбки женщин. А паренек лет десяти юрко вырывался из милиционерской сухой крестьянской руки и грязно, с вывертом матерился.

– Ну чего? – спросил Волобуев. – Что случилось, Лапшин?

– С Поволжья оне, а мальчишка по карманам шарит...

– Сади их в камеру, там разберемся...

– Ах, гадюка, гадюка, – горько сказала одна из женщин, черная, простоволосая, – сам небось хлеб жрешь, а у меня в цицке молока нет, вон дитя угасает... А Христа ради тряпки подают – у самих хлеба нет, а за тряпку кто ж денег ноне даст? Вот Николашка и шарит за бумажками-то, братьев своих да сестер спасаючи.

– Пусти мальчонку, Лапшин...

– Так кусается он, товарищ Волобуев...

– Значит, жить будет, – хмуро усмехнулся Волобуев, – раз зубы не шатаются.

Он выдвинул ящик стола, достал черствый ломоть хлеба, отломил половину и протянул мальчишке:

– На.

Тот взял хлеб и, разделив его в свою очередь пополам, протянул женщинам.

Волобуев засопел и отдал парню тот кусок, что решил было сохранить для себя...

– Идите, – сказал он. – Пусти их, Лапшин...

Когда женщины ушли, Белов сказал:

– Жулика отпускаете, а честного человека... Мужик и есть мужик, хотя и в форме...

Волобуев тяжело посмотрел на румяное, юное, безусое еще лицо этого красивого, постарорежимному одетого юноши, заскреб ногтями по кобуре, вытащил наган и взвел курок. Он бы пристрелил этого сытого, розовенького Белова, но тот закричал так страшно и пронзительно, что Волобуев враз отрезвел и пелена спала с глаз, только челюсть занемела и руки ходили как в пляске.

– Все скажу! – кричал Белов. – Не стреляйте! Здесь они! В портфеле! Тут! Не стреляйте, дяденька!

Волобуев долго сидел, закрыв глаза, потом спрятал наган в кобуру, подошел к Белову, взял у него из рук портфель и, открыв замки, высыпал содержимое на стол. Выросла горка золота: три портсигара, двенадцать штук часов, пятнадцать колец с бриллиантами, четыре десятирублевые царские монеты.

Волобуев долго сидел возле этой горки золота и медленно трогал каждый предмет руками... Потом – неожиданно для себя самого – уронил голову на это тусклое, холодное золото и завыл – на одной ноте, страшно, по-бабьи...

– Хочешь – все забери, только меня – Христом Богом молю – выпусти, – услышал он у себя за спиной голос Белова. – Бери, никто и не узнает, я, как могила, немой, я слова не пророню, дяденька...

Волобуев вытер слезы, высморкался в тряпочку и сказал:

– За слабость простите, а предложение взятки, конечно, в особый протокол выделим, и карманы валяйте навыворот – все, что есть, ложите на стол.

В карманах у Белова оказалось сто пятьдесят тысяч рублей, удостоверение работника Гохрана РСФСР и письмо без адреса следующего содержания:

«Гриша, я вынужден написать тебе это письмо, потому что от личных встреч ты постоянно уклоняешься, а это мне горько – и по-человечески и по-дружески (прости меня, но я по-прежнему считаю тебя другом, а не случайным сожителем по комнате).

Когда мы встретились с тобой, помнишь, ты ж был одним из лучших людей, каких я только знал, – ты последнюю рубаху мог отдать другу.

А что ж стало с тобой сейчас, Григорий? Неужели власть золота и жемчугов для тебя важнее великой власти мужской дружбы? Если так – изволь передать мне третью часть из того, что получаешь у себя в Гохране. В случае, если ты откажешься выполнить эту просьбу, я донесу властям о твоей деятельности на службе – не открытой, за которую ты получаешь деньги от правительства нашей трудовой республики, а тайной, которая наносит ущерб несчастным голодающим пролетариям. Следовательно, если к завтрашнему дню, к утру, ты не придешь на нашу квартиру и не выделишь мне драгоценностей на сумму в 1 (один) миллион рублей, то я сразу же сделаю заявление в ВЧК. Твой бывший друг, а ныне знакомый Кузьма Туманов».

– Где Туманов проживает? – спросил Волобуев.

– На Палихе.

– Палиха – это что такое?

– Улица это в Москве.

– Значит, надо говорить, улица такая-то, дом такой-то.

– Дом двенадцать, квартира шесть «а».

– Это как так, шесть «а»? Пять есть пять, шесть – будет шесть, а если семь – так и надо говорить.

– Быдло проклятое! – закричал Белов. – За что ж ты мне попался в жизни?! Темень перекатная! Не буду я тебе ничего говорить! Не стану, понял! Не стану! – И тут Белов бросился на агента угро, но бросился он неумело, парнишка был изнеженный, поэтому Волобуев легко толкнул его кулаком в плечо, Белов упал и начал биться головой о грязный, заплеванный пол.

– Не допрос у нас с тобой, – заметил Волобуев, отходя к двери, – а взаимная истерика. Только если когда я вою – так я по голодающим вою, а ты звереешь по своим часам да монетам, сука поганая.

Он распахнул дверь и закричал:

– Лапшин! Эй, кто-нибудь там, Лапшина найдите, пушай он понятых пригласит и сюда топает, тут у меня буржуй пол слюнявит и пятками зад молотит.

В тот же день МЧК забрала Белова к себе. Находился он в состоянии протрации, вопросы понимал плохо. Вызванный доктор констатировал сильный нервный шок и дал задержанному успокаивающее лекарство, предписав на допросы его в течение ближайших пяти дней не водить.

Председатель МЧК Мессинг наложил резолюцию: «Нач. тюрьмы. Просьба выполнить предписания врача».

Все поиски Кузьмы Туманова ни к чему не приводили: он исчез, как в воду канул. Оперативная группа МЧК выезжала в деревню Аверкино, где жил отец Белова – Сергей Мокеевич. Раньше он имел три трактира, но все они были конфискованы новой властью в девятнадцатом году. Обыск в доме старика Белова ничего не дал.

Через неделю доктор увидел в заключенном резкую перемену. Тот жадно заглядывал в его глаза и шепотом спрашивал:

– Доктор, а если я чистосердечно – не постреляют?

– Я, голубчик, врач и тонкостей этих, право, не знаю... Ну те-ка, ножку на ножку...

– Да, господа, при чем здесь ножка? Я на следующую ночь, как вы уехали, проснулся – весь в поту. Все глаза боялся открыть – думал, вот бы сон это был, вот бы сон... Лежал так, лежал, а потом один глаз открыл – а тут потолок серый и лампочка в решетке. И так я плакал, доктор, всю ночь плакал. А и плакать сладостно: сколько мне еще раз в жизни плакать? И боль чувствовать в руке, словно током пронзило – отлежал на нарах, – все равно приятно... И в парашу пописать – тоже сладостно так, нежно...

– А раньше о чем думали? – спросил доктор. – Когда начинали все это?

– Вы, пьяный, о чем думаете?

– Я уж, милейший, забыл, когда пьяным был...

– А я пьяный – дурной. За девицу черт знает что могу натворить. Меня, когда пьян, кураж разбирает. Наутро совещусь в зеркало смотреть – плюнул бы в рожу-то, а хмельной сам себе так нравлюсь, сильный я тогда, весь в презрении, а девицам это очень загадочно.

– Вы как в смысле секса?

– Секс – это половой акт?

– Почти, – доктор не смог сдержать улыбки.

– Могу, только если пьяный. Когда трезвый, я с девицами цепенею и слова не могу сказать, не то что секс.

– В роду у вас больных падучей не было?

– Не псих я, доктор, не псих... Я все отчетливо понимаю, что вокруг происходит, где я сижу и что может быть...

Доктор выписал новую порцию успокаивающих средств, хотя в беседе с начальником тюрьмы высказал предположение, что арестованный вполне вменяем.

Той же ночью Белов написал письмо Дзержинскому с просьбой вызвать его на допрос. Когда ему в допросе отказали, он объявил голодовку. От молодого парня этого не ожидали. В тюрьму приехал председатель МЧК Мессинг<sup>6</sup>.

– Какие у вас претензии? – спросил он Белова. – Почему голодовка?

– Потому что меня не допрашивают.

– Вы не в том состоянии, чтобы вас допрашивать.

– Мне каждый день в неведении – как смерть... Я на себя руки наложу!

– В отношении наложить на себя руки – мы этого постараемся не допустить. – Мессинг полуобернулся к начальнику тюрьмы и попросил: – Если будет замечен в подобного рода фокусах, посадите в карцер.

– Ясно, товарищ Мессинг.

– Что еще имеете заявить, Белов?

– А вы мне что имеете заявить?

– Не паясничайте!

– Я не паясничаю. Каждый человек имеет свою манеру обращения... Я хочу знать, что меня ждет, если я принесу покаяние?

– Чистосердечное покаяние приносят, когда человек без этого не может, если он себя хочет очистить... А если он торгуется – «вы мне за покаяние булку», – тут у нас разговора не будет...

– Я не булку прошу, а жизнь...

---

<sup>6</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

– Пока ставите условия – разговора у нас не получится. И с голодовкой – прекратите, несерьезно это. Потерпите дня два, а потом заскулите...

– Почему вы так жестоко со мной говорите?

– Скажите спасибо, что я с вами говорю, Белов. Мне очень хочется вас расстрелять – прямо здесь, не сходя с места... Ладно, ладно! Москва слезам не верит!.. На те драгоценности, которые у вас отобрали, можно завод накормить!

– Но мне же двадцать лет! Двадцать всего! – закричал Белов и начал хрустко ломать пальцы. – Я жить хочу! Мне надобно жить – я ведь молодой, глупый!

– Свою голову надо иметь в двадцать лет... Мне – двадцать шесть, кстати говоря. Хотите – напишите все подробно на мое имя: и про то, как убили Кузьму Туманова, и про то, где оборудовали тайник, – неторопливо говорил Мессинг, замечая, как расширяются зрачки Белова и как он медленно подается назад, – и чем подробнее напишете – тем будет лучше...

– Для меня?

– Больше, конечно, для нас, – усмехнулся Мессинг, – но, глядишь, трибунал учтет ваши глупые годы, глядишь – докажете, что не вы похищали, а другие, а вы только были передаточным звеном...

«Молчи, кругом молчи, – вспомнил Белов отчетливо и до жути явно лицо Ивана Ивановича во время их последней встречи. – Как бы ни было тебе страшно и плохо – молчи. Это я не пугаю тебя, это я тебе свою тайну открываю. Ты гляди: амнистии каждый год – на Первомай и в Октябрьские. Раз. Потом – не долги они, их голод сломит. Два. Мы своих в обиду не даем, у нас тоже руки длинные, мы из таких передрыг выходили – что ты... это третье будет. И помни, время всегда на того работает, кто смел и тверд. Кто раскис, того время сразу в расход списывает».

– Ничего я писать не буду, – сказал Белов наконец. – Можете и не допрашивать: под лежащий камень вода не течет. Не хотели по-хорошему – и не надо.

– От мерзавец, – удивленно протянул Мессинг, – ну, каков же мерзавец, а? Ладно, иди в камеру. И запомни, больше я с тобой говорить не стану – как ни проси. Это мое последнее слово, гаденыш...

Об аресте Белова Мессинг поставил в известность замнаркомфина Альского<sup>7</sup>, попросив его об этом никому больше не сообщать.

– Я бы даже порекомендовал вам сообщить в Гохран, что Белов откомандирован в Тобольск.

– Такие фокусы мне не очень-то нравятся, – ответил Альский, – но если вам это кажется целесообразным, я пойду навстречу – в виде исключения.

– Товарищ Альский, исключение здесь ни при чем, просто Белов похитил драгоценностей на миллион.

– Сколько?! – ахнул Альский. – Не может быть!

– Знаете, у меня от правды голова трещит, так что выдумывать сил нет, да и профессия мне этого не позволяет.

– Кто оценивал?

– Мы возили цапки в Петроград, чтобы не подключать к делу ваших гохранщиков.

– Из-за одного негодяя ставите под сомнение коллектив?

– Где вы там видели коллектив?

– А Шелехес? Пожамчи? Александров? Левицкий, наконец, старый спец, который прекрасно работает?

---

<sup>7</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

– Помимо названных товарищей там трудится еще много народа. И у меня есть к вам просьба: было бы целесообразно ввести троих наших людей к вам – под видом рабочих. Как вы к этому отнесетесь?

– Отрицательно, – ответил Альский. – Неужели вы не верите, что мы сами сможем навести там порядок? Я назначу ревизию, брошу настоящих специалистов – зачем же считать Гохран каким-то притоном?

– Смотрите... Я не имею права вторгаться в ваши прерогативы, но Феликсу Эдмундовичу я об этом деле доложу.

## Начало начал

Когда в приемной ВЧК рано утром раздался звонок и некто хрипловатым голосом с нерусским акцентом спросил прямой телефон начальника контрразведки и когда выяснилось, что звонил к чекистам поляк Стеф-Стопанский, досье на которого было весьма пухлым (Стопанский был сотрудником второго отдела польского генштаба), беседовать с ним член коллегии ВЧК Кедров<sup>8</sup> отправил по совету Дзержинского – помначинотдела Всеволода Владимировича.

– Всеволод с его блеском, – сказал Феликс Эдмундович, – в беседе со шляхтичем будет незаменим. Молодость Всеволода, его изящество и мягкость позволят нам точно понять Стопанского: зубр, видимо, решит поиграть с нашим юношей. Всякая игра рано или поздно открывает разведчика, его истинные намерения. А отказываться от контакта со Стопанским неразумно: у него есть выходы на Лондон, Париж и на Берлин.

Встретился Всеволод со Стопанским в табачной лавке на Третьей Мещанской. Цепко оглядев собеседника, поляк сказал:

– Мне приятно увидаться с вами, и я понимаю, где мы с вами сейчас находимся. Однако я просил бы пристрелочную часть разговора провести на улице, где нас никто не будет слышать. Если мы верно пойдем друг друга на воле, – он усмехнулся, – кажется, так у вас говорят о «не тюрьме», тогда мы продолжим беседу здесь, где, как я догадываюсь, каждое мое слово будет слышно еще по крайней мере двум вашим сослуживцам.

Всеволод весело посмотрел на Стопанского, взял его под руку и сказал:

– Не скрою, я чертовски устал, поэтому прогулка мне не помешает – особенно с таким интересным собеседником.

...Выезжая на встречу с поляком, он уже знал от службы наружного наблюдения, что Стопанский идет один. На всякий случай, правда, он надел дымчатые очки с нулевой диоптрией – он относился к тому типу людей, которых очки очень сильно меняли.

Они шли по бульжному тротуару, сквозь который уже проступала свежая, словно бы подстриженная на английский манер трава, мимо маленьких домиков, и со стороны казалось, что прогуливаются два товарища.

– Так что же вас привело ко мне? – спросил Всеволод.

– К вам меня ничто не приводило. Я пришел в ЧК.

– Похвально. Я, как индивид, и мы, как коллектив, любим, когда к нам приходят интересные люди...

– Представляться мне надо?

– То есть?

– Звание, операции, связи?

– Вообще-то мы знаем вас.

– Вы знаете, что я подполковник польской разведки?

– Детали, думаю, мы лучше запомним, если они будут изложены в письменном виде. Нет?

– Вы думаете, я стану писать?

– Станете. Если вы затеяли что-то против нас – вам придется играть. А если вас привело к нам истинное намерение сотрудничать, вы захотите убедить нас в своей искренности и начнете делать это с мелочей, а именно: с фамилий ваших друзей, близких и родных. Разве нет?

– Браво!

Взгляды их встретились. Всеволод улыбался, и в глазах у него не было той жестокости и чувства превосходства, которое так боялся увидеть Стопанский.

---

<sup>8</sup> Расстрелян в 1941 г. – Ю. С.

В свою очередь Всеволод отметил, что поляк небрит, рубашка у него измятая, ботинки нечищены, пальто испачкано, на левом плече несколько пушинок, а пальцы покрыты тем сероватым налетом грязи, который особенно заметен на ухоженных и полных руках.

– Bravo! – повторил Стопанский. – Вы четко мыслите, молодой человек...

– Иначе не стоит.

– Я не хотел обидеть, упомянув про вашу молодость...

– Этим нельзя обидеть. Наоборот...

– Я не знаю, – сказал Стопанский, начавший отчего-то злиться, – приходилось ли вам иметь дело с серьезными агентами из иностранных разведслужб, но хочу заметить: польский генштаб сейчас находится в средоточии интересов всех европейских стран. Я, в частности, имею контакты с французами и англичанами.

– Помните имена ваших людей в Париже и Лондоне?

– Естественно.

– Операции?

– Старые?

– Новые тоже.

– Те, которые собирается проводить Лондон и Париж, я не знаю. Но их операции меня не минуют – я считаю себя специалистом по Совдепии... Когда доложите начальству об этой беседе? Можете пригласить кого-либо из ваших ответственных руководителей?

– Это мы устроим, – пообещал Всеволод.

– Когда?

– Дней через семь.

– Это невозможно...

– Ну что ж делать...

После долгой паузы Всеволод спросил:

– Когда вас обокрали?

Он не знал наверняка и не мог знать этого. Просто его мозг – мозг аналитика, человека смелого и веселого – автоматически проанализировал факты: из всей массы полученной информации Всеволод отобрал для себя следующую: во-первых, поляк голоден, ибо он несколько раз смотрел на вывески трактиров и принимался к запахам жареной колбасы; во-вторых, он хочет курить, но курева у него нет; в-третьих, Стеф-Стопанский слыл щеголем, и одежда его всегда отличалась отменным вкусом, а сейчас он был неряшлив и грязен; в-четвертых, он всячески подчеркивал свою значимость, а это обычно бывает с людьми, которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств больше уповать на прошлое, чем верить в спасительное будущее.

Стеф-Стопанский брезгливо поморщился:

– Ваша работа?

– Разве друзья в посольстве не могли вам помочь? – не отвечая на его вопрос, продолжал Всеволод.

– В Европе вы не жили?

– Жил.

– Видимо, в среде эмиграции... Взаимовыручка, товарищество и так далее... Молодой чело... Простите...

– Да нет, господь с вами, пожалуйста, пожалуйста... Мы ведь чины не возрастом выслушиваем.

– Деловыми качествами?

– Именно.

– Кто в Европе «просто так» дает деньги?

– Заявите, что вас обворовала ЧК... Неужели на обратную дорогу не воспомоществуют?

– Bravo! А в Варшаве что делать?!

«Оп! – сказал себе Всеволод. – Мышка попалась! Там ему будет нечего кусать, потому что прогонят из разведки, ибо он что-то важное тащил в портмоне или слишком много денег. Видимо, он к нам прет вчистую».

– Закуривайте, – предложил Всеволод.

По тому, как жадно затянулся Стопанский, норовя при этом держать папиросу так, чтобы не показывать свои грязные пальцы, Владимиров до конца уверовал в то, что его версия правильна.

– Зайдем в трактир? – предложил Всеволод.

Наказав Стопанскому извозчицей колбасы, холодца и пива, он сказал:

– В ресторан, видимо, идти нет смысла: там могут быть ваши знакомые.

Стопанский молча кивнул, потому что рта открыть не мог – колбаса была горячая, но, как всякий голодный человек, он отрезал себе слишком большой кусок и сейчас осторожно втягивал ноздрями воздух, чтобы как-то остудить шипучее, грубое, прекрасное мясо...

После обеда Стеф-Стопанский закрыл глаза и сказал:

– А теперь за час сна – полжизни.

– Пошли ко мне: там все обговорим, и можете лечь поспать, пока вам приготовят номер в гостинице. У меня еще несколько вопросов к вам.

– Пожалуйста...

– Вам фамилия Бечковский ничего не говорит?

– Нет.

– А Кряковяцкий?

– Нет.

– А Леснобродский?

– Полковник Леснобродский? По-моему, он курирует ваше представительство в Варшаве.

*«Нота полномочного представителя РСФСР в Польше  
Министру Иностранных Дел Польши  
Скирмунту*

В течение последних недель в Российское полномочное представительство несколько раз являлось неизвестное лицо, впоследствии оказавшееся агентом II отдела Польского генерального штаба полковником Леснобродским, с предложением доставлять Российскому правительству официальные секретные документы из Польского генерального штаба. В Российском полномочном представительстве он встречал неизменный отказ воспользоваться его предложением. Тем не менее 10 октября поздно вечером полковник Леснобродский явился в Российское полномочное представительство и принес с собой разнообразные документы и целое секретное дело о польском шпионаже в Германии с многочисленными печатями, подписями, штампами II отдела, с картой и фотографиями якобы польских шпионов в Германии и предложил купить у него за 500 000 марок все эти документы. Как только мне было об этом доложено, я сейчас же позвонил вице-министру г. Домбовскому и просил его немедленно командировать в полномочное представительство чиновника министерства иностранных дел совместно с представителями других властей для составления протокола и ареста полковника Леснобродского. Вице-министр г. Домбовский за поздним временем, к сожалению, не мог командировать представителя министерства иностранных дел. В полномочное представительство были командированы лишь представители общей и сыскной полиции, которые арестовали полковника Леснобродского, но отказались допросить его. Отсутствие в деле первого показания г. Леснобродского в самом полномочном представительстве является существенным ущербом для нормального следствия, который может отразиться на дальнейшем ходе его. Во время ожида-

ния представителей польских властей полковник Леснобродский сознался, что ему в качестве агента II отдела генерального штаба поручено было непосредственным начальником, майором Кешковским, войти в доверие полномочного представительства с провокационной целью и что доставленные им документы являются фальсификацией, изготовленной II отделом и врученной ему майором Кешковским для продажи Российскому полномочному представительству.

В то время как Российское и Польское правительства путем переговоров стараются уладить недоразумение между обеими сторонами и достигли недавно соглашения по всем спорным вопросам, Польский генеральный штаб прилагает все усилия, чтобы какой-либо преступной провокацией обострить и испортить отношения между Россией и Польшей.

В последнюю неделю в Российское полномочное представительство систематически являлись подозрительные лица, которые представляли удостоверения II отдела Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского и предлагали доставлять нам разнообразные документы. Каждый раз такие предложения оканчивались нашим требованием немедленно покинуть здание полномочного представительства.

В свое время, когда Российское правительство опубликовало документы, установившие преступную работу II отдела генерального штаба в контакте с “Народным союзом защиты родины и свободы”, возглавляемым Савинковым, Одинцовым и другими, уличенные лица, защищаясь, пытались прикрыть преступление фельетоном, напечатанным во всех польских газетах за подписью Масловского. Чтобы оправдать и усилить этот способ защиты, II отделом генерального штаба был задуман план действительной провокации, который, удавшись, должен был служить оправданием и спасением от законного и неопровержимого обвинения, которое Русское правительство предъявляло Польскому генеральному штабу.

Случай с полковником Леснобродским с очевидностью устанавливает, что против Российского полномочного представительства ведется широко задуманная провокационная работа, руководимая Польским генеральным штабом.

Представляя при сем 1) одну копию протокола, составленного 10 октября в Российском полномочном представительстве, 2) удостоверение полковника Леснобродского за № 3835, выданное II отделом Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского, 3) все документы, доставленные в Российское полномочное представительство для продажи по поручению II отдела того же штаба г. Леснобродским, имею честь просить Вас, господин министр, предпринять шаги, которые Вы найдете нужными, к пресечению провокационной работы II отдела Польского генерального штаба, которая ставит своей целью осложнение отношений между Россией и Польшей.

Примите, господин министр, уверение в совершенном моем уважении.

*Карахан<sup>9</sup>*».

Ноту эту Стопанскому показали ночью, сразу же после того, как Всеволод сообщил Кедрову о данных, связанных с Леснобродским. Ноту в целом Стопанский одобрил и даже шутливо завизировал ее.

Наутро он начал давать показания. Наиболее серьезным было то, что, по его данным, в Ревеле среди сотрудников русского посольства есть человек, работающий на чужую разведку.

– На какую именно разведку он работает, не знаю, но факт сам по себе бесспорен. Из обрывков разговоров могу предположить, что готовила этого человека к вербовке эмиграция.

Всеволод запросил данные на ревельскую эмиграцию. Ему принесли список имен наиболее видных личностей в Ревеле из разных лагерей: от крайне правого монархиста Воронцова до эсера Вахта, редактировавшего газету «Народное дело». Он назвал Стопанскому фамилии лидеров комитета содействия эмигрантам и беженцам: Вырубова, Львова, Зеелера, Оболен-

---

<sup>9</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

ского, редакторов кадетских «Последних известий» Ратке и Ляхницкого в надежде, что поляк вспомнит кого-либо конкретно, но Стопанский категорически утверждал, что хотя имена эти он и слышал, но протянуть какую-либо связь к русскому дипломату он не решается.

Сказал он также, что в Москве существует глубоко законспирированное подполье, имеющее в своем распоряжении громадные запасы бриллиантов, золота и платины. Подполье это сторонится всяких аспектов политической борьбы и преследует лишь своекорыстные цели личного обогащения. Кое-кто из этих людей поддерживает контакты с представителями здешних дипломатических кругов, которые не только скупают драгоценности, но в ряде случаев являются передаточным звеном: драгоценности уходят в Париж и в Лондон, а после маклеры играют на бирже, причем на понижении акций фирм, которые начинают торговые сделки с Россией.

– Мне сдается, что один из моих здешних друзей, – их имена, как вы понимаете, я не называю и не стану называть впредь, – сказал Стопанский, – связан с этим московским подпольем, но в корыстных, личных целях – он покупает драгоценности для себя, и у меня, кстати, похитили принадлежащие его семье деньги – две тысячи долларов, – об этом разговор впереди...

– А если мы своими возможностями найдем этого человека?

– Вы вольны делать все, что угодно, это ваш долг. Важно, чтобы я не испытывал угрызений совести. Кстати, в подполье Москвы нам известно имя богатейшей старухи – Стахович Елена Августовна...

Через три дня, после очередной беседы со Стопанским, член коллегии ВЧК Глеб Иванович Бокий<sup>10</sup> вызвал начальника МЧК Мессинга, старшего помощника начальника спецотдела Будникова и Владимирова.

Поначалу, еще до этого совещания, Бокий был у Дзержинского и Уншлихта<sup>11</sup>: он предлагал установить за валютчиками более пристальное наблюдение, но Уншлихт круто возражал:

– Это вам не эсер или кадет, который токует, как тетерев. «Аполитичные» валютчики куда как осторожнее и мудрее. Каждый час чреват тем, что драгоценности могут уйти из России. Надо брать сразу. Тщательнейшие обыски, четко разработанные допросы: в данном случае временной риск не оправдан, это вам, – он усмехнулся, – не контрреволюционный заговор, к тем мы можем присматриваться не торопясь...

Бокий не соглашался с Уншлихтом:

– Мы возьмем десять, двадцать человек, а два уйдут. Или один. Если уж рубить – так сразу, по всем!

– Сдается мне, вы не правы, Глеб, – негромко сказал Дзержинский. – Время, когда мы из золота станем строить общественные нужники, Ильич обозначил абсолютно точно: коммунизм... Проклятие золотого тельца – штука поразительная. Когда потребность будет соответствовать способности – а это возможно, лишь когда лавки будут ломиться от товаров, здесь все взаимоувязано, – тогда только золото станет обычным металлом – тусклого цвета, без вкуса и запаха. До тех пор пока золото дает возможность его обладателю иметь хлеба – я нарочито огрубляю – больше, чем всем остальным, до этой поры арестом и реквизицией власть золота не сломить. Словом, я за то, чтобы сегодня же провести операцию. Сейчас каждый час дорог. В ближайшем будущем нэп даст нам возможность выкачивать золото здесь, дома.

Облаву на подпольные «золотые центры» проводила МЧК во главе с Мессингом. Операция прошла на редкость тихо: ни перестрелок, ни попыток бегства. Люди попались все больше пожилые, уважаемые. Держались они с достоинством, только сильно бледнели и не могли подолгу стоять – просили стул, ноги не держали. А стоять им приходилось довольно долго – пока агенты МЧК делали опись захваченных драгоценностей.

---

<sup>10</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

<sup>11</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

Особенно много драгоценностей было изъято у бывшей фрейлины Елены Августовны Стахович. Немка – по-русски она говорила довольно слабо, и поэтому допросить ее на родном языке Бокий попросил Всеволода. Владимиров допросов вести не умел, потому что его работа в политической разведке предполагала совсем иную деятельность – то он семь месяцев служил в пресс-группе Колчака вместе с известным писателем Ванюшиным, который после разгрома адмирала ждал «штабс-капитана Максима Исаева» в Харбине, то выезжал в Лондон, то появлялся в Варшаве.

Однако сейчас время было горячее; три переводчика, служившие в ВЧК, разъехались по командировкам, а ждать их возвращения – дело нецелесообразное.

- Добрый вечер, – сказал Владимиров, предлагая женщине сесть, – у меня к вам вопросы.
- Вы – немец?
- Русский.
- Здесь работаете добровольно?
- Вполне.

Стахович держалась удивительно достойно, и это нравилось Владимирову. Ему приходилось видеть людей, которые ползали по полу, рвали на себе волосы, норовили целовать чекистские сапоги, вымаливали пощаду, а эта старуха сидела спокойно, пристально, изучающе взглядываясь в лицо собеседника.

– Итак, первое: откуда у вас эти драгоценности?

– Это фамильные драгоценности. Я не несу за них ответственности, они перешли ко мне от моих предков – российских дворян...

– Тогда извольте отвечать на мои вопросы по-русски, – резко заметил Владимиров. – Для вас понятие «русский» сугубо абстрактно, как, впрочем, и для ваших предков.

– Вы не смеете говорить так фрейлине русской государыни.

– Смею. Если бы для вас «русский» было сутью, жизнью, болью – вы бы подумали о том, сколько миллионов русских мрет от голода! А на ваши камушки можно прокормить волость!

– Не мы этот голод принесли в Россию...

– Мы?

– Вы. И та банда, которой вы служите.

Владимиров тяжело посмотрел на женщину, на ее спокойное, надменное лицо и сказал:

– «Банда» в соответствии с нормами уголовных законоположений есть группа преступников, похищающих чужое имущество с помощью убийств, грабежей и подкупов. Верно?

– Верно.

– А теперь я спрошу вас, гражданка Стахович: отчего вы мне лжете?

– Если вы посмеете продолжать в таком тоне, я откажусь отвечать. Я прожила свое, и смертью вы меня не запугаете.

– Смертью я вас пугать не собираюсь. Более того: мы вас завтра же отпустим... Но мы найдем возможность сказать людям – за нашей прессой следят и в Париже и в Лондоне, – как вы, подкупив известного нам человека, получили неделю назад в бывшем Купеческом банке по фиктивной справке драгоценности адъютанта великого князя Сергея Александровича и сейчас тщитесь эти драгоценности выдать за свои, фамильные, доставшиеся вам в наследство от ваших дворянских предков по форме и букве закона.

– Нет! Нет! – вдруг зашептала Стахович. – Нет! Нет!

Каждое слово, произнесенное сейчас Владимировым, было правдой.

Наблюдение, установленное за Стахович после показаний Стеф-Стопанского, дало поразительные результаты: старуху увидели входящей в дом поздним вечером с чемоданчиком. Извозчик на допросе сказал, что старуха наняла его возле Купеческого банка, откуда она вышла с мужчиной. Тот пешком ушел в переулок, а старуха вернулась домой, как сказал извозчик,

«на мне». Старуху взяли сразу же – она даже не успела спрятать драгоценности. Владимиров не знал лишь фамилии ее спутника, поэтому он и сказал так – «подкупив известного нам человека», рассчитывая, что после такого сокрушительного удара старуха должна будет открыться до конца.

– Да! – повторил он. – Да, да! И теперь оставим эмоции. Перейдем к делу. Адрес вашего попутчика: вы с ним вчера вышли из Купеческого банка...

– Да знаете ли вы, что такое последняя любовь женщины?! Я не открою его вам! Он прелесть, он самый нежный, он честен и быстр, как Отелло...

– Самый омерзительный для меня человек в литературе – Отелло, – ломая темп допроса, усмешливо проговорил Владимиров, – он взял себе варварское право лишать другого человека жизни, подчиняясь слепому чувству ревности... По мировому законоположению Отелло следовало бы судить как злодея...

– Вы никогда не любили...

– Любил, любил, – успокоил старуху Владимиров, – любил, Елена Августовна.

– Один из самых черных людей земли русской – граф Толстой тоже ненавидел Шекспира.

– Спасибо, – сказал Владимиров, – за сопоставление. Сугубо горд. Но мы несколько отвлеклись в литературоведение. Вернемся к бриллиантам. Первое: адрес вашего спутника; второе: номер телефона посольства, куда вы передавали драгоценности; третье: адрес вашего маклера, который за вас играет на лондонской бирже.

Директор бывшего Купеческого банка сообщил чекистам, что на работу не вышел замзав отделом драгоценностей Михаил Михайлович Крутов – тот самый, который, как выяснилось, выдал Стахович драгоценности великого князя по липовой справке Наркомфина. Наряд МЧК, отправленный к нему на квартиру, сообщил, что Крутов сегодня утром выписался и сказал, что срочно выезжает в Киев к заболевшей сестре. По наведенным справкам, в Киеве у Крутова родственников не было.

Крутов поселился в Сергиеве-Посаде у Олега – брата налетчика и бандита Фаддейки. Олег третью неделю мучился запоем. Работал он по сейфам артистично, он их как орехи щелкал. Сейчас, правда, Олег работал мало, больше пил, спрятавшись на маленькой дачке. Место здесь было тихое.

Фаддейка приехал к брату под вечер – днем он по городу не ходил: ЧК свирепствовала всюю.

– Вот что, – сказал ему Крутов, помешивая ножом чай в алюминиевой кружке, – тактику будем, друг мой, ломать. Не от мужчин станем идти к бабам, а наоборот...

– Ты ясней говори, – попросил Фаддейка, – а то мудришь сверх меры, я и понять не могу ни хрена.

– Сейчас, когда ЧК всех старичков с камнями хлопнула, оставшиеся немедленно уйдут на нелегалку. А ведь «все мое ношу с собой» – понял? Все камушки они станут в карманах носить. У тебя, говорил, есть сутенеры?

– Есть.

– Что у них за бабы?

– Ничего бабки, – хмыкнул Фаддейка, – сисястые.

– Сисястых ты себе оставь. Нам нужны худые, молоденькие – желательно из аристократок.

На таких клюнут. Ничего не понял?

– Ничего, – ответил Фаддейка, засмеявшись.

– Ладно. Завтра сведи меня со своими сутенерами – я им сам директивы дам...

## Ревельское интермеццо

Никандров затаил дыхание, когда пограничник начал второй раз листать его новенький, пахнувший клеенкой паспорт.

– По профессии вы кем будете?

– Литератор.

– Чего ж уезжаете?

«Неужели большевики снова со мной поиграли? – мелькнуло зло и устало. – Ну что им от меня надо?! Неужели завернут в Москву? У, рожа-то какая: с веснушками и ноздри белые. Мальчишка – а уже истерик».

Но пограничник, повертев паспорт, вернул его Никандрову, еще раз подозрительно оглядел писателя с ног до головы и вышел из купе.

Никандров закрыл глаза и откинулся на плюшевую жесткую спинку дивана.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ», – прочитал он про себя Лермонтова и сглотнул слезы. – Они меня слезливым сделали, комиссары проклятые. Правы были римляне – нет ничего страшнее восставших рабов: их свобода тиранична и слепа, а идеалы проникнуты варварством и жестокостью, потому что проповедуют они всеобщую доброту, а всеобщего нет ничего, кроме рождения и смерти», – подумал он, прислушиваясь к тому, как пограничник стучал в соседнее купе, где ехал таинственный комиссар из Москвы, сопровождаемый двумя чекистами в коже и с маузерами.

Никандров вышел в коридор. Поначалу он решил закрыться в купе и сидеть здесь до тех пор, пока состав не уйдет за границу, но потом брезгливо подумал: «Неужели они меня сделали таким жалким трусом, что я боюсь даже их соседствующего присутствия? Совестно, гражданин Никандров, совестно». И он поднялся, по-солдатски одернул пиджак и, задержавшись взглядом на сидящем сорокалетнем человеке, криво улыбавшемся в зеркале, резко отворил дверь.

Вагон был полупустой.

В соседнем купе командир пограничного наряда и чекисты в кожанках прощались с таинственным приземистым человеком: глаза – маслины, касторовое пальто и тупорылые – по последней американской моде – штиблеты.

– Желаем счастливого пути, – сказал один из чекистов, пожимая руку своему подопечному, – и скорейшего благополучного возвращения, товарищ Пожамчи.

Пограничники и чекисты ушли, паровоз прогудел, лязгнули буфера, продзенькали графины в медных держалках, и поезд медленно ушел из России в Эстонию.

Пожамчи стоял возле окна, не снимая пальто, несмотря на то что в вагоне было жарко натоплено.

Поплыли крестьянские коттеджи – дома крыты черепицей, кладка каменная, большие окна.

Никандров вспомнил Россию: подслеповатые оконца, света нет, разорение, грязь, нищета...

– И не совестно вам, комиссар? – спросил Никандров неожиданно для себя.

– Простите? Вы мне? – улыбнулся Пожамчи.

– Кому же еще! Штиблеты комиссар носит малиновые, а несчастный мужик как жил в зверстве, так и живет. На что замахнулись? Ни одна страна в мире не приходила в другую страну с униженной просьбой: «Владейте нами, земля наша обильна, а порядка нет!» Россия – приходила. А вы ее – в передовую революцию – носом, носом! А она к революции готова, как я – к деторождению!

– Да вы не волнуйтесь, – попросил Пожамчи. – Может, я...

– Что вы?! Что?! Нет революций! Честолюбцы есть! Сколько ж вы миллионов людей обманули, а?! Куда ей – грязной и нищей России, социальную революцию совершать?! Им, – Никандров яростно кивнул головой на проплывавший эстонский пейзаж, – следовало начинать, а не нам с голой задницей и горячечными татарскими инстинктами!

Никандров чувствовал, что сейчас он выглядит смешно и жалко, выкрикивая то, что наболело, но он не мог остановить себя. Он видел, что его попутчик хочет что-то возразить, но это бесило его еще более.

– Я знаю ваши возражения! Страна безграмотных рабов тщится предложить новый путь миру! Мы, не знающие, что такое метрополитен и аэроплан, замахиваемся на мощь Северо-Американских Штатов! Пьяное мужичье, сжигающее картины только потому, что они висели в помещичьем доме, собирается переделать мир! Революция – верх логического развития! Революция обязана сделать жизнь лучше той, которую она отвергла! А что ваша революция принесла?! Голод! Разруху! Власть быдла, которое мне диктует, что надо, а чего не надо писать!

Чем яростнее выкрикивал Никандров, тем улыбочивее делалось лицо Пожамчи, и он уже не прижимал к груди так напуганно толстый свиной кожи портфель.

– Что же смеетесь-то вы? – спросил Никандров с болью. – Над собой не пришлось бы вам посмеяться. Зло мстительно, только оно и во втором колене мстить будет, и в третьем. О себе забыли, упиваясь минутой власти, так о детях бы подумали! Не простит вам Россия того, что вы с ней вытворили, – никогда не простит, и путь ее назад, к разуму, будет кровавым, и кровь этих лет не пойдет ни в какое сравнение с той кровью, которая грядет вам за грехи ваши...

– Вы напрасно так изволите гневаться, – усмехнувшись, сказал Пожамчи, воспользовавшись тем, что Никандров раскуривал трубку. – Я, с вашего позволения, думаю так же, как и вы, и не собираюсь возвращаться в Совдепию...

– Что?!

– Да вот то самое, – как-то злорадно ответил Пожамчи, – только, судя по всему, вам это было легче – «адье, Россия!», а вот мне уехать больших трудов стоило и пребольшого риска, милостивый государь.

И, взглянув еще раз на расписание остановок, Пожамчи не спеша направился к выходу: поезд останавливался на какой-то маленькой станции. Возле вокзального здания Никандров увидел несколько саней и черный, звероподобный автомобиль – скорее всего немецкий, – с номером, заляпанным коричневой грязью.

И вдруг Никандров рассмеялся. Он приседал, хлопал себя большими сухими ладонями, иссеченными резкими линиями, по коленям, задыхаясь от смеха, а потом снова почувствовал соленые слезы в горле. «Господи, – думал он, – свободен! Он – как крыса с тонущего корабля, а я – гордо! Я домой вернусь как победитель, а он – никогда!»

Проводник, протерев тряпочкой медный поручень, сказал Пожамчи:

– Здесь мы всего пять минут, не отстаньте, товарищ. Они тут по-русскому не лопочут, все по-своему...

– Спасибо, – ответил Пожамчи и, не по годам легко спрыгнув на перрон, затрусил в вокзал.

За столиком в маленьком чистеньком буфете сидели три человека. Они мельком глянули на вошедшего и продолжали молча сосать пиво из глиняных кружек.

– Милейший, – обратился Пожамчи к буфетчику, – кого здесь можно подрядить до Ревеля?

– Поезд идет, – ответил буфетчик на чистом русском, – зачем же лошадки?

Пожамчи угодливо засмеялся:

– Я чтобы в саночках. Ну-ка, стопочку мне и рыбки.

– Какой рыбки?

– А вот этой, красненькой. У красных с красненькой рыбкой плохо! – снова посмеялся он, доставая из внутреннего кармана пальто бумажник.

– Не надо вам пить, – услышал он голос сзади и почувствовал на своем плече руку.

Стало ему сразу легко-легко, и ноги ослабли, сделавшись враз ледяными и влажными. Он обернулся. Те трое, что сидели за столиком возле окна, теперь были у него за спиной: двое быстро ощупали карманы – нет ли оружия, а третий, видимо главный, – по-прежнему держал руку на его плече.

– Вы кто? – спросил Пожамчи, не узнавая своего голоса.

– Пить вам не следует, а то посол запах водки учует, у товарища Литвинова нюх отменный, и будут вам после неприятности в Наркомфине у Николай Николаича, у товарища Крестинского...

– Так вы наши будете?

– Наши, – ответил старший и подтолкнул его к выходу. – Вас посольские должны на следующей станции встречать?

– А что?

– Вы мне вопросами не егозите, – сказал старший, беря его под руку, – вы отвечайте.

– На следующей... А вы – вот они, даже пораньше, – залепетал Пожамчи, – и слава богу, а то я весь в страхе, поэтому и решил себе позволить для храбрости.

– Ну и хорошо... Мы сейчас к вам в купе зайдём – вы один ведь следуете?

– Именно так.

– Ну и хорошо, – повторил старший, помогая Пожамчи подняться в вагон.

«Господи, – пронеслось в мозгу холодно и стремительно, – а я ведь литератору брякнул, что в Совдепию вертаться не хочу! Господи, неужели пропал? К полиции брошусь в Ревеле, кричать стану, отобьют...»

Трое завели Пожамчи в купе – Никандрова в коридоре не было, – затворили дверь и сели на плюшевые сиденья, только старший остался стоять, чуть склонившись над испуганным человеком в кастровом пальто с зажатым в правой руке желтым портфелем.

– Сколько у вас сейчас бриллиантов?

– Если по долларовому курсу – то... Я только прошу извинить – вы мне даже мандатов не показали...

Старший обернулся к спутникам:

– Влас Игоревич, предъявите ваш мандат.

Влас Игоревич достал из кармана тупорылый браунинг и навел его на Пожамчи.

– Вот это первый мандат, – неторопливо заговорил старший, – но он слишком громкий, поэтому мы взяли и второй мандат, не так ли, Валентин Францевич?

Валентин Францевич вытащил руку из кармана коротенького казакина, отороченного серой мерлушкой. В руке у него был нож, и Пожамчи сразу же ощутил, какой он острый, этот нож, и какой холодный, хотя видел он хирургически белый кусок стали всего мгновение: Валентин Францевич сразу же спрятал его, усмешливо глядя на гохрановского контролера.

– Так вы что ж – грабители?

– Неужели я похож на грабителя? – спросил старший. – В прошлые годы вы меня даже по имени-отчеству не рисковали, а все больше «ваше превосходительство».

– Господи, Виктор Витальевич, неужто вы?!

– Слава богу, – улыбнулся старший, – признали. Усы меня так старят или очки? Так сколько в долларах будет?

– Миллиона два будет.

– И вы с таким-то богатством, принадлежащим республике рабочих и крестьян, деру хотели дать? Ай-яй-яй, Николай Макарыч, как совестно! Народ голодает, а вы...

– Господи, Виктор Витальевич, да я готов отдать вам половину, только...

– Не буду, не буду, – усмехнулся Виктор Витальевич, – я вас убивать не буду. Курить хотите?

– Бросил.

– Сердечко?

– Да нет, не жалуюсь. Табак дороговат.

– С вашими-то деньгами?

– Курочка по зернышку клюет, – попробовал пошутить Николай Макарыч и даже чуть посмеялся, уголком глаз посматривая на двух сидевших у двери, но Виктор Витальевич его оборвал:

– Ладно. Воспоминания кончились, времени у нас в обрез. Закурить – я один закурю. На следующей станции к вам сядут двое из посольства, чтобы камушки охранять; нам стоило большого труда опередить их, так что давайте будем кратки и серьезны. Как вы думаете, среди тех камушков, которые у вас в портфеле, моей семье что-либо принадлежит?

– Колье изумрудное и осыпь – ваша тетушка их брала у меня за тридцать две тысячи золотом весной семнадцатого, до переворота.

Пожамчи потянулся к портфелю, но Виктор Витальевич снова положил ладонь на его плечо:

– Не надо, Николай Макарыч. Не возьму я камушки, они всегда мне были ненавистны, а уж сейчас тем более. У меня к вам просьба: доставить эти камушки товарищу Литвинову в самой полнейшей сохранности. Ясно?

– Не могу понять, ваше превосходительство...

Виктор Витальевич усмехнулся:

– Да уж превосходительство, куда как превзойти мое превосходительство! Так вот, не превосходительство я и не граф, а просто Воронцов. Эмигрант. Враг трудового народа. Без родины и племени. А это очень плохо, Николай Макарыч. Воронцову быть на земле без роду и племени. Вам, торговцам, легко: для вас родина там, где можно вести куплю-продажу, а для меня родина – одна, и с ней в сердце я умру, и зовется она – Россия. И я туда намерен вернуться. Тогда и вам сызнова легче станет, и торговать можно будет камушками, и гешефт с моей тетечкой делать. И вы, Николай Макарыч, поможете мне вернуться на родину, а для этого нужно, чтобы вы по-прежнему трудились в Гохране. Вы сколько имели дохода до переворота?

– Тринадцать тысяч. По счету в банке легко проверить.

– Я не Рабкрин, проверять не стану, я вам на слово верю. Как думаете – долго еще большевики продержатся?

– Долго не смогут.

– А если еще мы поднажмем?

– Тогда повалятся, Виктор Витальевич. Только если вы серьезно будете за дело браться, попусту народ не гневить – поркой там или презрением к простолюдинам...

– Ну, знаете, от ошибок кто гарантирован... Битые – мы умней стали. Так вот: за все годы Совдепии получите по пятьдесят тысяч золотом. Расписку давать – или на слово поверите?

– Не могу я туда возвращаться, нет сил моих.

– Николай Макарыч, я хочу быть доказательным. Слушайте меня внимательно: если вы, несмотря на мою просьбу, тем не менее решите сейчас сбежать, я сделаю так, что вас выдадут полиции: вы похитили ценности, принадлежащие не государству – нет, а нам – Воронцовым, Нарышкиным, Юсуповым. Никто у вас этих камушков не примет, а мы докажем свое, вы это знаете...

– Знаю, – вздохнул Николай Макарыч, – как не знать...

– И полиция посадит вас в тюрьму, а здешние тюрьмы ничуть не лучше московских. Даже хуже: тут амнистий не бывает, тут сроки, как и деньги, считать научены. И учтите, здешние правители так же, как мы, ненавидят кремлевских властелинов, только они еще их очень боятся

и вас за милую душу выдадут Москве, провались кто-нибудь из ихних посольских дворников. Через пять минут будет остановка, и к вам придут люди от Литвинова и довезут вас прямо до улицы Пикк. Если вы по дороге вздумаете кричать и звать полицию – мои друзья помогут чекистам, которые будут вас охранять. Вы не откажетесь выполнить эту работу, Валентин Францевич?

Тот молча кивнул головой.

– Если же вы согласитесь выполнять наши просьбы, – продолжал Воронцов, – то я готов показать вам ваш паспорт – гражданина Германии. Вы его получите здесь же, после того как сделаете еще три-четыре рейса. Вы хоть понимаете, что у вас нет иного выхода, как принять мое условие?

– Дурак не поймет, – ответил Николай Макарыч.

– Ну и хорошо. Завтра приходите вечером в подвальчик «Золотая корона», я вас там найду. Договорились?

– Да.

– Не свирепейте, не свирепейте, – мягко улыбнулся Воронцов, – с эдаким-то богатством вы тут не справитесь – темечко не выдержит, да и порода не та – слишком уж точно свой годовой доход помните.

– Я-то бы справился, Виктор Витальевич, а вот, простите, аристократы, которые своих доходов не знали и считать не хотели, – вот они Россию-то и подвели к краху. Аристократу надобно Россию было любить платонически, а управление тем передать, кто цифру любит и помнит.

– А ведь это программа! Глядишь, в новом правительстве мы вам пост товарища министра финансов подготовим.

– А министр – из вашего сословия – снова мне указания станет делать? Ему б лучше на бегах играть и охотой заниматься, тут слов нет – ваша возьмет...

– Полно, полно, Николай Макарыч, – ответил Воронцов, и скула его заиграла. – Мой прадед выходил под пули на Сенатскую площадь, а ведь и игрок был, и выезды держал. Мы Россию любим, а вам лишь схема важна для приложения неумных сил. Это ежели серьезно. А если бы вы решились бежать с этими-то кремлевскими миллионами, вас бы чекисты все равно выловили. Вы должны войти в доверие, чтобы не страшились обыска на границе: тогда и Литвинову камни дадите, и себе вывезете. Сколько себе притащите – ваше дело. Мне – с каждой ездки – будете давать миллион. Себе – хоть пять, я вас контролировать не стану. До свидания. Мои друзья будут в соседнем купе – в случае чего окликните их, они помогут. Да и я неподалеку...

– Вы литератора куда-нибудь уведите, я ему – в глупости – брякнул, что из Совдепии бежал...

Трое быстро переглянулись.

– Какой литератор? – спросил Воронцов.

– Я имени не запомнил, слышал только – литератор.

– Зря, – сказал Воронцов, – как же вы так?

Воронцов достал из внутреннего кармана длинный стилет, нажал на хитрую кнопку – остро выскочило тонкое шило – и вопросительно поглядел на Власа Игоревича. Тот протянул руку, и Воронцов отдал ему стилет.

Воронцов выходил из купе последним. Он осторожно прикрыл дверь, обернулся и выдохнул – как простонал, увидев возле окна Никандрова:

– Леня, бог ты мой! Леонид, миленький ты мой!

Они бросились друг к другу и замерли, обнявшись.

\* \* \*

Посол РСФСР в Эстонии Литвинов<sup>12</sup> медленно поднялся из-за стола и неторопливо, чуть вразвалочку двинулся навстречу Пожамчи. Он ощупал его своими холодными голубыми глазами, спрятанными за толстые стекла очков, суховаато улыбнулся и жестом пригласил главного оценщика Гохрана республики к маленькому – ножки рахитично выгнуты – столику; был он накрыт на две персоны.

– Добрались без приключений? – спросил Литвинов.

– Да! Все в порядке, слава богу, – суетливо, чересчур подобострастно улыбаясь и понимая, что со стороны это смотрится плохо, ответил Пожамчи. Ему отчего-то казалось, что этот большеголовый человек в конце беседы обязательно спросит его и о литературе, и о беседе с Воронцовым в купе, и поэтому он чувствовал себя неуверенно, словно бы под микроскопом. Он не успел еще прийти в себя, выстроить ясную линию поведения, потому что рослые дипломаты – Хромов и Потапчук – сели в его купе через три минуты после того, как вышел Воронцов, а с вокзала сразу же отвезли в посольство и здесь, не дав ему умыться или перекусить, пригласили к послу.

– Ну, если слава богу, – усмехнулся своей странной улыбкой Литвинов, – тогда прошу вас, угощайтесь кофе.

– Благодарствуйте.

«Посадский, вероятно, – подумал Литвинов, – почему посадские так липки к политике и финансам? Ущербность самолюбия или завистливое желание стать городским?»

– На словах мне ничего не просили передать?

– Товарищ Крестинский наказывал вам поклон передать.

– Спасибо. Занятно: «наказывал» – одновременно читается и как «просил», и как «выпорол»...

– Кто выпорол? – не понял Пожамчи.

– Пока никто никого, – ответил Литвинов, подумав: «Если бы он говорил своими терминами, то, вероятно, я бы его также не сразу понимал».

Он уперся тяжелым своим взглядом в надбровье собеседника и спросил:

– Какие-либо пожелания у вас есть? Просьбы?

– Да никаких просьб нет, товарищ Литвинов, что вы...

– Тогда позвольте мне поблагодарить вас за то благородное дело, которое вы совершили, переправив нам драгоценности. Позвольте мне вручить вам премию, – и Литвинов передал Пожамчи конверт с двумя зелененькими бумажками – по сто долларов каждая...

– Благодарствуйте, – сказал Пожамчи и не уследил за лицом – он это понял сразу же: Литвинов цепко схватил его своим особым взглядом. Видимо, эта презрительная усмешка все же показала Литвинову то, что он так тщательно старался скрывать – и сегодня, и все те пять лет – с тех пор как победила революция. Как же было ему не усмехнуться презрительно, когда у него в бумажнике лежало восемь тысяч долларов, а в портфеле, который он передаст сейчас этому холодноглазому бандиту, было почти два миллиона?!

«Все мы под Богом ходим, – подумал Пожамчи. – Надо ж мне было воронцовской тетке в рост под изумруды давать?! Близкую выгоду всегда горазды видеть, а вот вперед заглянуть, там, где черненько все и костисто, – о том тщимся не думать – как кроты».

– Вы какой доход имели до революции? – спросил Литвинов.

– Доход? Я запомятовал. И в доходе ли счастье?

– Это верно. А в чем оно – счастье?

---

<sup>12</sup> Умер накануне ареста в 1951 г. – Ю. С.

– Кто знает... – устало ответил Пожамчи. – Каждое счастье – разное, одинаковых не бывает.

– Тоже верно, – согласился посол и поднялся.

Пожамчи протянул ему портфель:

– Вот тут... Все... Вы будете принимать или кто из помощников?

– А что ж принимать? – Литвинов пожал плечами. – Вы могли с этим чемоданчиком исчезнуть. С первой же эстонской станции.

Пожамчи снова похолодел и, угодливо посмеявшись, опасливо поднял глаза на посла. Тот не мигая смотрел на него, и лицо его, казалось, говорило: «Ну, выкладывай все, облегчайся, говори...»

– Почему? – невпопад спросил Пожамчи. – Зачем же уходить, я и не держал такого в мыслях...

Он расстегнул портфель и, понимая, что делает совсем не то, что надо бы делать, высыпал на стол замшевые мешочки, в которых лежали камни и ожерелья. Он придерживал их жестом, свойственным всем ювелирам. Движение это было вкрадчивым и робким, но одновременно сильным, словно движение отца, который укачивает дитя.

Зеленые, сине-белые, красно-дымчатые камни легли на стол, и, – странно, отметил для себя Литвинов, – стол сразу же стал иным, тяжелым, и не светлым вовсе, а темным, вбирающим в себя загадочные высверки камней. Камни, казалось, только изредка вбирали в себя жухлые лучи солнца, и тогда холодно выстреливали граненым, переливным, звездным светом, и длилось это всего мгновение, а после солнце растворялось в молчании камня, и он, продолжая быть прежним, тем не менее становился иным – в таинственном, сокрытом от человеческого понимания качестве; он вбирал в себя свет навсегда – прочно и жадно.

– Любите камни? – услышал Пожамчи голос посла.

Он услышал его глуховатый голос откуда-то издалека, и было противно ему слышать этот голос, потому что он был сух и обычен, а Пожамчи, разглядывая камни, всегда говорил шепотом – как в храме божьем.

– Как же их не любить? – ответил он. – Тут за каждым камнем – история.

– Вот этот, например, – спросил Литвинов, притрагиваясь пальцем к большому сероголубому жемчугу. – Он же бесцветный и неинтересный...

– Жемчуг умирает, если не чувствует тела рядом с собою. Камень стал таким жухлым оттого, что пролежал пять лет в хранилище. Жемчуг относится к тому редкостному типу драгоценных камней, которые знают влюбленность. Вот смотрите. – Пожамчи положил камень под язык и замер. Он просидел так с минуту, потом достал жемчуг из-за щеки. – Видите? Камень начал розоветь. Его можно спасти. Он умрет лет через десять, если его не носить на руке, а держать в душном подвале. Вот эти бриллианты – из филаретовского хранилища. Бриллиант врачует сердце. Если, например, носить бриллиантовую заколку в галстук, у вас никогда не будет сердечных болей... Эти изумруды из Саксонии, их в руках своих держал Фридрих Великий, шведский Карл, Петр Первый... А после они были в руках людей моей профессии – поэтому, верно, и сохранились; мы ведь молчуны – как все влюбленные...

Воронцов снимал маленькую мансарду на окраине Ревеля. Домик был деревянный; пахло в нем морем и шахтой одновременно. Хозяин, Ганс Саакс, плавал в Америку на «торговцах» и с тех далеких пор «заболел» морем: дома у него лежали просмоленные канаты, манильские тросы, вобравшие в себя таинственные, далекие запахи парусников прошлого века; топили дом, как и повсюду в Эстонии, сланцем, поэтому Воронцов, помогая Никандрову раздеться, сказал:

– Располагайся, Ленюшка, – сказал Воронцов, сбрасывая свое легкое пальтецо, – я тебе уступлю свое лежбище, а сам устроюсь на полу, по-фронтному.

– Я тебя стеснять не стану, Виктор, я в отель двинусь: там можно будет пресс-конференцию собрать, с издателями встретиться.

Воронцов как-то странно глянул на Никандрова, и легкое подобие усмешки изменило его лицо, и стало оно грустным и пронзительно-красивым.

– Ну-ну, – сказал он, – денег-то у тебя сколько?

– Денег нет... Так, мелочь, долларов двадцать... Зато я привез рукопись нового романа.

Воронцов достал из маленького шкафчика водку, пару крутых яиц и круг ноздрястого, ярко-желтого сыра.

– О чем роман?

– О декабристах.

Лицо Воронцова замерло, и он негромко спросил:

– А кому здесь декабристы нужны?

– Ох уж этот скепсис российский!

– Ну-ну, – повторил Воронцов и разлил водку по стаканам.

– Граненые, – заметил Никандров, – как у твоего егеря в Сосновке.

– У Елизарушки, – сказал Воронцов, и лицо его потеплело, дрогнуло, – как-то сейчас старик? Любил он меня и верен был иступленной верностью – такая есть только у русских егерей. – Он отрезал два толстых ломтя сыра и добавил: – И жен.

– Ну уж если они изменяют – и жены и егеря, – тоже по-русски: до одури и безжалостно.

– В том, что произошло с Верой, повинен я.

– Я не о Вере... Елизарушка первым твой дом в Сосновке поджег и коням глаза выкалывал... штопором...

– Этого быть не может, Леня. Сейчас невесть что про человека скажут – просто так, скуки ради...

Никандров видел Елизарушку, когда жил в соседней деревеньке, – обросший, седеющий, в рванье – кто бы в нем тогда признал блистательного петербургского литератора! Он сам видел, как Елизарушка рвал на тощей своей, с выпирающими, угластыми ключицами груди рубаху и кричал: «Попили нашу кровушку, паразиты! Хватит!»

– Может быть, ты прав, – ответил Никандров, не желая делать больно товарищу, и впервые за все время внимательно осмотрел комнату Воронцова. Он увидел большие, расплывшиеся пятна на потолке, отошедшие, несвежие обои, плохо покрашенный пол; под ножку стола была подоткнута сложенная в несколько раз газета.

– Ну, за встречу, Леня.

Они молча выпили.

– Господи, как я завидую, что ты еще сегодня в России был...

– Не завидуй, Виктор. Ты здесь, у себя в ко... – Никандров осекся было, но Воронцов помог ему:

– В конуре, в конуре, ты не щади, Леня. В конуре. Как пес. Хотя мои псы в доме жили, под библиотекой, помнишь, ты раз там уснул на Святки вместе с борзой... Как ее? Лизавета, кажется. Верно, мы ее из Джерри перекрестили... В конуре, Леня... Ну, еще? В угон хорошо ляжет стакашка.

– Погоди, продам роман, и махнем в Париж, там наших полно.

– В Берлине больше.

Они выпили еще по стакану. Воронцов длинноного, складно поднялся и, как все кавалеристы, легко ступая, пошел к двери.

– Я сейчас. Предупрежу хозяина, что вернемся под утро. У меня теперь хозяин. Я у хозяев живу, Леня.

Никандров почувствовал громадную жалость к этому лысеющему сероглазому человеку, владевшему в России поместьями, которые славились хлебосольством, широким – на англий-

ский манер – демократизмом, великолепным собранием живописи, библиотеками, а главное, тем редкостным духом доброжелательства и заинтересованной уважительности, который был чужд как нуворишам, так и бедневшим дворянам, которые всячески подчеркивали свое именно дворянское, но никак не аристократическое происхождение.

«А ведь великолепно держится, – думал Никандров, – потеряв все, что можно было, он сохранил самого себя, достоинство. Поэтому победит. Мы гибнем, когда вступаем в сделку с собою. За этим зорко смотрит царь-случай, выстраивающий свои загадочные комбинации из взаимосвязанности добра и зла, безволия и напора, верности и предательства. Оступись – в себе самом, наедине со своим истинным “я”, уступи злу хоть в толике – и ты погиб. И пусть после сделки с самим собой тебя ждет на какое-то время слава, признание и богатство, все равно ты обречен неумолимой логикой его величества случая, которому все мы подвластны, но понять который нам не дано. Он как Бог. Его надо свято, духовно бояться; только такой страх может обуздать дьявола в человеке».

Спустившись к хозяину, Воронцов спросил:

– Ганс Густавович, позвольте воспользоваться телефонным аппаратом?

– Та, пожалуйста, только не очень долго...

Воронцов позвонил в редакцию газеты «Ваба сына» и попросил к аппарату господина Юрла.

– Добрый вечер, Карл Эннович, это Воронцов.

– Добрый вечер, граф.

– Сегодня из Москвы к вам прибыл писатель Никандров.

– Ко мне? – удивился ведущий репортер отдела искусства и хроники. – Я его не приглашал. Видимо, он прибыл к вам, а не к нам...

– Нет, с нами его связывать не стоит. Он вне политики, он – один из талантливейших писателей России. Я бы хотел просить вас прийти сегодня в «Золотую крону» – Никандров расскажет о том, что сейчас происходит в России.

– Мы в общем-то догадываемся, что происходит в России.

– Но вы получите самые свежие новости от писателя, который был вынужден покинуть родину.

– Понимаю, понимаю... Поить будете?

– Водкой напоим.

– Видите, какой я стал грубый материалист, после того как на вашей родине победили материалисты? – посмеялся Юрла. – Нельзя отставать от времени.

– К десяти ждем.

Воронцов опустил трубку на рычаг, потер сильными пальцами скулы и растянул несколько раз губы в гримасе яростного, беззвучного смеха.

В редакции двух русских газет – «Последние известия» и «Народное дело» – звонить было рискованно. «Последние известия» более тяготели к платформе кадетов, а «Народное дело» являлось органом социалистов-революционеров. Газеты, эти не имели здесь веса, а Воронцову хотелось привлечь к Никандрову внимание не столько несчастной, безденежной, погрязшей в интригах эмиграции, сколько местной интеллигенции. Поэтому ни редактору «Последних известий» Ляхницкому, ни Владимиру Баранову, ведущему критику «Народного дела», Воронцов звонить не стал. А редактору Вахту он попросту звонить не мог – эсер ненавидел его.

«У нас всегда так, – подумал он, листая записную книжку, – когда иностранцы проявят интерес – тогда и свои зашевелются. А если я сейчас стану нашим навязывать Никандрова – сразу начнут нос воротить: одни за то, что он был недостаточно левый, другие – за то, что не

слыл крайне правым... Нет уж – пусть здешние о нем шум подымут, тогда наши начнут – без моей на то просьбы».

– Ян? Здравствуйте, – сказал Воронцов, вызвав следующий номер. – У меня к вам просьба. Возьмите кого-нибудь из собратьев-поэтов и приходите сегодня в «Золотую крону» к десяти: из Москвы приехал Никандров.

– Кто это?

– Ваш коллега – писатель. Он умница и прелестный парень. Я пригласил Юрла, он даст об этом информацию: пресс-конференция, которую ведут поэты, – сама по себе сенсационна.

Обернувшись к Сааксу, Воронцов снова потер пальцами холодные, гладко выбритые щеки и сказал:

– Ганс Густавович, а теперь просьба. Ссудите меня, пожалуйста, пятью тысячами марок.

– Не моку, друк мой. Никак не моку.

– Я всегда был аккуратен... Пять тысяч – всего пятнадцать долларов...

– Та, но в вашей аккуратности заинтересован только один человек – это вы. Иначе вам придется платить проценты. А в чем заинтересован я? Не обижайтесь, господин Форонцоф, но каждый человек должен иметь свою цель.

– Вы правы... Можно позвонить еще раз?

– Та, та, пожалуйста, я же отфетил фам.

Воронцов чуть прикрыл трубку рукой:

– Женя, это я. Приехал Никандров. Будет очень жестоко, если он в первый же день столкнется с... Ну, ты понимаешь. Возьми кого-нибудь из наших, и приходите к десяти в «Крону». Если сегодня Замятина, Холов и Глебов не заняты в кабаре – тащи их тоже. И подготовьте побольше вопросов о прошлом, о его роли в нашей культурной жизни и о связях с переводчиками в Европе. Ты понял меня?

Воронцов снова обернулся к Гансу Густавовичу и сказал:

– Я вам предлагаю обручальное кольцо. Вот оно. Как?

– Та, но уже фсе юфелиры закрыли торкофлю.

– Что же я – медь на пальце ношу?

– Почему медь? Не медь. Я понимаю, что фы не будете носить медь на пальце. От меди на пальце остаются синие потеки и потом начинается рефматисм. Просто я не знаю цены на это кольцо, я не хочу быть нечестным.

– Я не продаю кольцо. Оставляю в заклад. За пять тысяч марок. Если я не верну их вам через неделю – вы его продадите за двадцать тысяч.

– Ох, какой хитрый и умный, косподин Форонцоф, – посмеялся Саакс, доставая деньги, – и такой рискофанный. Разве можно остафлять в заклат любофь?

– А вот это уже не ваше дело.

– До сфиданья. И не сердитесь, я шучу. Кстати, к фам зфонила женщина, которая зфонит поздно фечером.

– Что она просила передать?

– Она просила сказать, что состояние фашего друга ухудшилось.

– Резко ухудшилось?

– Та, та, ферно, она сказал – «резко ухудшилось». Она просила фас зайти к нему секодня фечером.

– Мне придется еще раз позвонить, – сказал Воронцов и, не дожидаясь обстоятельно-медлительного разрешения Саакса, вызвал номер и по-немецки, чуть изменив голос, сказал: – Пожалуйста, передайте той даме, которая по субботам снимает седьмую комнату, что сегодня я задержусь и буду не в десять, а к полуночи.

– Да, господин, я оставлю записку нашей гостье.

– Не надо. Вы передайте ей на словах.

– Хорошо, господин, я передам на словах.

– Прости, я задержался, – сказал Воронцов, поднявшись к себе, – почему ты не пил без меня, Леня?

– Один не могу.

– Значит, гарантирован от алкоголизма.

– Это верно.

– Тут вокруг тебя начался ажиотаж: пресса, поэты.

– Пронюхали? Откуда бы?

– Шелкоперы – труд у них такой, да и ты – не иголка в стоге сена. Голоден?

– Видимо – да, только я голода не ощущаю.

– Смена белья есть? Не вшив?

– Я прошел санпропускник, а смены белья нет. Куда-нибудь двинем?

– Сорочки посвежей нет? Галстуха?

– Ничего, из Москвы приехал – не из Вашингтона.

– Если бы ты приехал из Вашингтона – сошло бы, а поелику из Москвы прибыл – швейцар не пустит в кабак.

– Кого?

– Нас. Вернее, тебя, я при галстухе.

– То есть как это прогонит? Что он – член Совдепа?

– Совсем даже нет, – ответил Воронцов, доставая из чемодана, спрятанного под кроватью, туго накрахмаленную сорочку, – он очень Совдепы не любит, хотя и трудящийся, так сказать. Среди тех, кто посвятил себя лакейству, тоже есть свои парии и патриции, рабы и хищники. Хищники давно поняли, что богатство и независимость может прийти только через изощренное, особое самоунижение. Он клиента ненавидит – тяжело ненавидит, а весь в улыбке, почтении, нежности, дозированном панибратстве. Я думаю, московские лакеи картотеку вели на нас – до переворота. А по счету платить им некому, так они жеребцам глаза... Штопором...

Никандров стремительно глянул на Воронцова, но лицо его было непроницаемо.

– Здешняя индустрия лакейского унижения поразительная, – продолжал Воронцов. – Она – предполагает восемь часов рабства и шестнадцать часов тайной, могущественной свободы. Лакеи скоро начнут создавать свои клубы – поверь. Ну, с Богом. Давай на дорожку еще по одной... Галстух не в тон, но, прости, у меня только два.

– Неужели ты ничего не взял с собой из дома, Виктор?

– Бриллиантов взял тысяч на сто...

– Сильно пил?

– Я, Леня, помогал. Сначала Антону Иванычу Деникину, потом поехал в Омск – адмиралу передал все... Помнишь корнета Ратомского? Умер с голоду в Шанхае, а была вакансия – лакеем в английский клуб. Не пошел. Я всегда считал его предков не очень чистыми в крови: гонора в нем было преизбыточно... Я ведь, лакействуя, накопил бы в клубе денег на дорогу в Европу... Ваш сия, прашу...

– За тебя, Виктор, – поднимая стакан, сказал Никандров, чувствуя, что он в третий раз за сегодняшний день не может сдержать слез. – За твое сердце и за мужество твое.

– Полно, Леня... Полно... Это все полезно – что было. За одного битого двух небитых дают.

Уже на улице, вышагивая через осторожные весенние сумерки – поздние, в тревожном предчувствии моря, с сиреневыми закраинами, изорванные четкими рельефами темных крыш, Никандров наконец спросил:

– Неужели никто из наших не мог тебе помочь?

Воронцов ничего не ответил, только горько усмехнулся.

– Дорогу, Леня, запоминай, – сказал он наконец, – тебе одному придется возвращаться, у меня деловое рандеву на сегодняшнюю ночь.

– Я помешаю тебе?

– Нет, я к себе никого не вожу...

– Совестишься конуры?

– Господи, что ты... Я не из купцов все-таки... Нет, тот человек живет в самом центре, и ему неудобно сюда добираться. Леня, скажи мне, как в детстве доброму старику на исповеди, – дома по-прежнему страшно? Как в восемнадцатом?

– По мне – стало еще хуже. Мужик доведен до полного измождения. Что им наша деревня... Ты им подай городской пролетариат... Вот они и решили уничтожить крестьянство, заставить мужиков уйти в город, стать даровой рабочей силой, чтоб заводы строить – по ихней схеме без завода нет счастья в жизни и мировой революции. Жестокая схема, а потому и мы все в этой схеме лишь неживые компоненты, так сказать, перемещаемые элементы общества...

*Ревель, Роману.* Необходимо выяснить, кто из сотрудников нашего посольства имеет контакты с людьми из иностранных представительств, аккредитованных в Эстонии. Поскольку сведения получены из источника, подлежащего проверке, прошу соблюдать чрезвычайную осторожность и такт.  
*Бокий.*

## Расстановка сил

Глава эстонского государства Пятс быстро пошел навстречу Литвинову по толстому ковру, который скрадывал звук шагов.

Поначалу ковра не было, и идти навстречу послу приходилось через громадный зал, а паркет здесь был выложен какой-то особый, невозможно гулкий, и президент смущался того солдатского грохота, который шлепал гулким эхом по углам зала, хотя он старался мягко ступать на носки.

– Здравствуйте, господин президент...

– Здравствуйте, простите, что я задержал вас...

Пятс выждал паузу, думая, что Литвинов ответит нечто обязательное в таком случае, вроде «я понимаю вашу занятость», но посол ничего не ответил, пауза затягивалась, и президент, протянув левую руку, указал на два кресла возле камина:

– Прошу вас.

– Благодарю.

Литвинов набылчил голову – она сейчас показалась президенту громадной, больше туловища посла, – чуть подался вперед и заговорил:

– Несмотря на наши неоднократные просьбы, полиция Эстонии не предприняла никаких шагов против тех бандитских групп, которые, базируясь в Ревеле, совершают нападения на города и населенные пункты, расположенные в РСФСР, и занимаются там грабежами, убийствами и насилиями.

– Пожалуйста, факты, господин посол. Бездоказательность в таком вопросе может быть трактована лишь как попытка вмешиваться в наши внутренние дела.

– Я думаю, если мы станем приводить факты, то картина получится обратная. Не мы вмешиваемся, а в наши внутренние дела вмешиваются: с территории Эстонии в Россию перебрасываются бандгруппы; здесь они находят покровительство.

– Я вынужден повторить: базой для обсуждения этого вопроса могут быть лишь строго документированные факты.

Литвинов достал из кармана пиджака несколько листочков бумаги. Он доставал их медленно, неуклюже, и делал он это продуманно и весело: президент никак не думал, что посол привезет официальный документ в кармане, а не в папке. Посол позволял себе шутить – иногда рискованно, но всегда точно и беспронгрышно.

Раньше – и в ссылке и в эмиграции – у Литвинова было отстраненное представление о дипломатии. Это представление невозможно изменить до тех пор, пока человек сам не станет дипломатом. Только тогда он поймет, что дипломатия есть одна из форм международной торговли, а та, в свою очередь, похожа на обычную торговлю, а в моменты наибольшей опасности для мира напоминает торговлю базарную, где побеждает самый спокойный, сильный и обязательно честный: плохим товаром морду извозят и опозорят надолго вперед – не поднимешься...

Литвинов многому научился у Чичерина, Красина и Воровского.

Манера этих людей была великолепная: чуть суховатая, без всяких эмоций – карты на стол, дело есть дело, никакой суетливости и высокое чувство самоуважения: представлять следует не какую-нибудь державу, а первую в мире – социалистическую.

Литвинов как-то сказал замнаркома Карахану:

– Я убежден, что мы рано или поздно придем к решению важнейшей проблемы – мы еще к ней не подошли, и как к ней подойти – вопрос вопросов, тут можно таких дров нало-

мать – я имею в виду проблему вытравления из сознания российской интеллигенции чувства собственной второсортности.

– То есть? – не понял Карахан. – Это отдаёт великодержавным шовинизмом.

– Отнюдь нет, – возразил Литвинов, – это если уж и отдаёт – то национальной гордостью великороссов. Я обожаю Байрона, но ведь Россия дала миру Пушкина! Мопассан? Великолепно, но у нас Чехов! Флобер, Золя, Диккенс? Верно, без них нет мира. А без Толстого, Достоевского, Тургенева, Щедрина, Лермонтова? Верди?! А Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский? Как без них жить?

– Вы заметили, – усмехнулся Карахан, – наша революция пробудила и во мне, армянине, и в вас, иудее, высокое чувство социалистического великороссийского патриотизма?

– Заметил, – согласился Литвинов, – а потому во время переговоров ноги на стол, естественно, класть не следует, но надо всегда помнить, что мы живём под шатром великой российской культуры, мощнее которой, пожалуй, нет в мире... А то мы шведу какому-нибудь или голландцу ручку трясем и улыбку строим лишь потому, что он и у себя дома – иностранец.

...Достав из кармана листочки бумаги, Литвинов расправил их на коленях и начал неторопливо читать.

– «Пятого, двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого и двадцать третьего февраля 1921 года совершенно двенадцать попыток нарушения госграницы, причем во время перестрелки, состоявшейся двадцать третьего февраля, ранены два советских пограничника и один эстонский. Во время перестрелки второго марта был убит русский белоофицер штабс-капитан Петр Васильевич фон Бромберг. При убитом были обнаружены крупная сумма денег и пачка поддельных советских документов. В Ревеле фон Бромберг проживал вместе с лидером белых монархистских бандгрупп графом Воронцовым. О том, где проживают и где встречаются представители эмигрантских бандгрупп, посольство РСФСР уведомило соответствующие органы Эстонии еще четырнадцатого февраля сего года...»

Литвинов продолжал читать свой документ, опровергнуть который не мог никто, а президент, слушая его, горестно и тяжело думал: «Наша вина заключается лишь в том, что мы – маленькая страна. Как же трагична роль малых стран в этом большом мире. Кого винить в том, что мы поселены богом на этой каменистой, прекрасной, неплодородной, но такой дорогой нам земле?»

Когда Литвинов закончил чтение документа, президент закурил и минуту сидел недвижно, смежив веки...

– Я дам указание разобраться во всем этом.

– Министр иностранных дел давал три указания, однако бандиты продолжают спокойно жить в Ревеле и встречаться, и мы знаем, где они встречаются и о чем они, встречаясь, говорят.

– Мы живем по своим законам, господин посол. Полиции нужны неопровержимые улики... Иначе мы не сможем предпринять против агрессивной части русской эмиграции те шаги, которые вы подразумеваете...

– Правительство уполномочило меня довести до вашего сведения, что оно не намерено более терпеть подобного рода вылазки, проводимые с территории государства, с которым мы поддерживаем дипломатические отношения.

– Но вы, надеюсь, понимаете те трудности, которые стоят перед нами? Вы, лично вы, живущий здесь...

– Я не научился отделять мое мнение от мнения моего правительства, господин президент.

– Что же нам – ЧК вводить, чтобы изолировать русскую эмиграцию?!

– Я не уполномочен давать вам советы. Это можно расценивать как вмешательство в ваши внутренние дела. Но я хотел бы, чтобы те уважаемые господа, которым вы поручите это

дело, с должным вниманием отнеслись к тому, что правительство РСФСР не намерено далее терпеть подобного рода акты со стороны русских бандгрупп при попустительстве эстонских властей...

– Я понимаю эти ваши слова...

– Это не мои слова, господин президент, – жестко поправил его Литвинов.

– Ваше правительство угрожает нам интервенцией?

– Мы никому не угрожаем. Убивают наших пограничников, попирают наши границы, в местной прессе подвергают беспрецедентным нападкам мою страну и ее лидеров – конец всякому терпению чреват действием!

– Но я же не могу издать приказ об аресте всех этих русских, господин посол! Войдите в мое положение! Меня не поймет мой народ!

– А мое правительство не поймет мой народ, если и дальше будут продолжаться подобные эксцессы на границе.

– Я не могу не отметить, господин посол, что ваша позиция неразумно жестока.

– Вы говорите о жестокости моего правительства? Того, которое дало вам свободу и независимость? Того, которое выступило против колониализма царя? Того, которое гарантирует вам свободу и безопасность от немецкого вторжения? Свободой, которая не завоевана, но получена из других рук, надо уметь уважительно и целенаправленно пользоваться, господин президент.

– Вы имеете в виду географическую, вынужденную целенаправленность? – горько улыбнулся президент.

– Географическая, этническая и историческая целенаправленность никогда не бывала вынужденной; она всегда была разумной в этом мире, четко разграничившем самого себя, – ответил Литвинов и вручил Пятсу ноту НКВД.

«До нашего сведения дошло, что противники Российского Советского правительства, не отступающие в своей борьбе против него перед самыми гнусными провокационными приемами и преступлениями, готовят в Латвии покушения на членов латвийского правительства, на иностранных представителей и на членов иностранных миссий. Одновременно с покушениями предполагается выпустить подложные прокламации от имени Коммунистической партии с заявлением о том, что эти покушения служат ответом на репрессии против коммунистов. В связи с этим предполагается также начать кампанию в печати, обвиняя Российское Советское правительство в том, что оно якобы является инициатором этих покушений. Таким путем имеется в виду создать подходящую атмосферу для агрессивных действий со стороны иностранных держав против Советской России. Подобные же методы будут, вероятно, применены и в других государствах... Из числа русских эмигрантов непосредственными участниками этих планов являются монархические круги. В связи с этими известиями российским полномочным представителям в Латвии и других соседних государствах поручено предупредить их правительства об этих преступных планах».

...После ухода Литвинова глава государства попросил секретаря срочно вызвать для беседы британского посла.

Всякая закономерность случайна в такой же мере, как любой случай закономерен. Сцепленность заинтересованностей держав, концернов, партий, будучи рассмотрена на расстоянии, явит собой картину логически безупречную и четкую. Однако если персонифицировать историю, то обнаружатся такие подспудные обстоятельства, которые, казалось бы, противны здравому смыслу. На первый план в этом случае могут выйти личные симпатии и антипатии, возрастные явления; те или иные повороты истории будут определены не столько ходом объ-

активного развития общества, сколько разностью темпераментов противостоящих друг другу лидеров; пустая мелочь может оказаться решающим фактором – даже насморк, когда человек испытывает раздражение от того, что льет из носу и платок мокрый, да и сморкаться беспрерывно в присутствии контрагенов – особо если речь идет о межгосударственных переговорах – не с руки, а еще, упаси бог, кто посмеется – ущемленность и зажатость в лидере подчас куда опаснее доктрины, которую он проводит в жизнь, как бы на первый взгляд эта доктрина ни была жестка и бескомпромиссна...

...Жена шофера британского посла, маленькая, все еще хорошенькая, но уже начавшая увядать, устроила сцену ревности мужу своему, Курту, который с громадным трудом получил место в посольстве и теперь всячески пытался зарекомендовать себя старательным и преданным работником. Беспочвенная ревность, крики жены, заинтересованность соседей по дому – все это вывело Курта из себя: он больше всего боялся, что о его домашних скандалах узнают в посольстве.

– Я же во имя семьи работаю день и ночь, – закричал он, – я хочу, чтобы и ты и мальчишки были всем обеспечены! Мне с тобой некогда поспать – не то чтобы с другой! Устаю я, понимаешь? Устаю!

– Ты не смеешь меня попрекать! – отвечала ему жена. – Я не попрекаю тебя тем, что стираю твоё бельё и готовлю обед!

Словом, когда Курт вез жену посла от антиквара, у которого был куплен уникальный сервиз семнадцатого века, из переулка выскочила повозка, и Курт – обычно хладнокровный и расчетливый – сейчас, будучи взбудоражен домашней сценой, резко взял на тормоза, сверток с сервизом упал, и три чашки разбились. Супруга посла, естественно, ограничилась сдержанным замечанием – нельзя ронять достоинство перед шофером, но с мужем она вела себя совершенно иначе – если ломать себя даже с близкими, то как тогда жить?

– Вы могли бы выписать шофера из Лондона, – говорила она нервно, – эти животные не в состоянии управлять автомобилем, им надо ездить на коровах!

– Вы же знаете, дорогая, – ответил посол, – что смета, отпущенная министерством, до крайности ужата – мой дворецкий тоже эстонец, а я очень хотел бы видеть на его месте нашего ливерпульского Ховарда...

– Вы можете нанять британского шофера и платить ему из наших личных денег...

– Но тогда, дорогая, вы не сможете покупать саксонские сервизы и ежегодно ездить в Канны.

– Это не по-джентльменски, дорогой, упрекать меня поездками в Канны...

– Вы путаете, дорогая, понятие упрека с констатацией факта.

– То, что вы сейчас сказали, безнравственно. Я не смею упрекать – ваши шотландские предки больше интересовались торговлей ячменной водкой, чем вашим будущим...

К президенту посол прибыл – как его и просили – незамедлительно, не успев успокоиться, внутренне продолжая вести язвительный диалог с женой, которая оказалась столь холодной и жестокой, что посмела упрекнуть его шотландским происхождением.

Президент проинформировал посла Его Величества о беседе с русским и спросил:

– Можем ли мы рассчитывать на быстрый и эффективный демарш со стороны Лондона?

– Я не могу ответить вам, господин президент, не запросив об этом правительство Его Величества.

– Меня в данном случае интересует ваша точка зрения.

– Но и в Лондоне я живу не на Даунинг-стрит, – ответил посол и сразу же понял, что говорит он с президентом совсем не так, как следовало бы, и он понял, что говорит так из-за обиды на жену, и это ущемило его еще больше, ибо он осознал, что страдает изъязном, недопу-

стимым для дипломата, – эмоциональностью, и поэтому, стараясь как-то сгладить свою непростительную резкость, сказал: – Я немедленно отправлю телеграмму в Лондон со своими рекомендациями.

Глава государства не мог, естественно, знать о том неприятном объяснении, которое только что было дома у посла Его Величества. Но он знал о том, что в Лондон прибыло несколько русских высокопоставленных большевистских чиновников, которые ведут беседы с представителями серьезных деловых кругов Великобритании. И президент предположил, что в Лондоне намечается определенный поворот в сторону смягчения отношений с красными. Поэтому, простившись с послом, он пригласил к себе министра внутренних дел Карла Эйнбунда и предложил ему сегодня же арестовать нескольких русских эмигрантов: эта акция давала возможность – хотя бы на ближайшее время – отводить все возможные нападки Наркоминдела, ссылаясь на то, что группа эмигрантов арестована и ведется следствие, о результатах которого будут проинформированы все заинтересованные стороны. Президенту очень понравилось – «все заинтересованные стороны». Это многозначительно, но дает повод к двоякому толкованию, а в политике есть только один выигрыш: когда тот или иной абзац, порой слово дает возможность разных толкований, ибо всякие толкования предполагают беседу за столом, а не перестрелку в окопах.

## В Ревеле ночью

– Господин Никандров, позвольте поблагодарить вас за интересный, трагичный реферат о положении у нас на родине, – сказал Евгений Андреевич Красницкий, давнишний друг Воронцова по армии, – желаю вам поскорее включиться в наше общее дело, мы от души вас приветствуем.

Вместе с ним пришли еще три человека – те были молчуны; они лишь пили вместе со всеми, когда Воронцов или Красницкий предлагали тост. Ян Растенбург привел двух молодых ребят: один аккуратен, гладок, сливочен – переводчик и поэт Иван Хэйнасмаа, а второй, нечесаный, Хьюри Лыпсе – популярный поэт и актер. Поначалу поэты помалкивали, яростно налегали на водку и бутербродики, посматривали в зал – видимо, ждали прихода Юрла, чтобы начать свою партию.

В баре было дымно, шумно, весело. Люди собирались здесь разноплеменные, странные: и моряки, и спекулянты, и богема, а порой близкие к правительственным и дипломатическим кругам субъекты, понять которых почти невозможно: то ли он завтра сядет командовать департаментом, то ли за ним и здесь ходят тайные агенты полиции, подбирая в досье последние крупницы доказательств, чтобы наутро, негромко постучав в дверь, увезти в тюрьму, – а там – на острова или еще куда подальше.

Воронцов смотрел на Никандрова влюбленно. Он преклонялся перед его чуть холодноватым, аналитическим талантом, да и потом с этим человеком были связаны самые дорогие ему воспоминания: и охота, и споры за вечерним чаем в Сосновке о судьбах мира, об истории России, и бега – словом, все то, что нынче ушло, по всему, безвозвратно.

Никандров, чувствовавший себя поначалу скованно – сказались годы революции, самоконтроль, страх, что донесет кто-нибудь из соседей, услышав неосторожно сорвавшиеся с языка слова, – теперь разошелся и даже вел себя несколько развязно: сидел, бросив ногу на ногу, чересчур небрежно и сыпал остротами, подчас чрезмерно грубоватыми. Воронцов понимал его: он считал, что это вызвано внутренним раскрепощением, которое чаще всего бесконтрольно.

Юрла пришел не один: с ним был секретарь редакции «Постимеес» Лахме с беспутно-красивой, видимо уже чуточку пьяной, актрисой варьете «Вилла Монрепо» Лидой Боссэ. Была она популярна в Ревеле: голос у нее был хрипловатый, низкий, и песни она пела какие-то странные – занятная смесь французских с цыганскими; поначалу смешно и неприлично, а после мороз дерет по коже. Про нее говорили, что она берет громадные деньги за ночь с капитанов или стариков-промышленников; это давало ей возможность быть совершенно независимой и не принадлежать какому-то одному покровителю.

Увидав Лиду, Никандров подобрался, лицо его сделалось еще более выразительным, резче обозначились скорбные морщины вокруг рта. Лида села близко к нему; пахло горьковатыми духами, и стало ему тревожно и счастливо.

Волосатый, нечесаный Хьюри Лыпсе, переждав, пока все, обменявшись рукопожатиями и шумными приветствиями, выпьют, спросил:

– Господин Никандров, в чем вы видите долг литератора?

– Дело литератора – литература.

– Афоризмы я могу прочитать у Ларошфуко, – отрезал Лыпсе, – меня интересует ваш отчет.

– Как-то совестно мне отвечать на такие выпренные вопросы, – ответил Никандров, закуривая. – Я, впрочем, попробую ответить... Щедрин писал своему сыну...

– Кто такой Щедрин? – перебил его Лыпсе.

– Это гениальный русский писатель, великий национальный писатель. Он для нас как Конфуций – для Китая, Рабле – для Франции... Так вот, он писал своему сыну, что нет на свете более почетного призвания, чем призвание литератора российского... Преклоняясь перед Щедриным, я тем не менее вынужден опровергнуть его. Кто и почему отметил литератора среди людей знамением заступника и доброго судии? Почему некий избранник должен быть заступником? А если народ не хочет, чтобы за него заступались? Да и что такое народ? Необъятность понятия всегда давала возможность появлению тиранов, логика которых конкретна и ограничена. Почему мы должны делить мир на пассив – народ, который безмолвствует, и актив – литератора, который призван бить в колокола? А вдруг честолюбец, начав звонить в колокола, порушит устоявшееся? Но что он предложит взамен? Разрушение упоительно – вспомните игры детей, а вот как быть с созиданием?

– Значит, по-вашему, – удивился Лыпсе, – не следует звать людей к борьбе против нищеты и неравенства?

– В России вы можете набрать миллион образчиков того, что случилось после начала всеобщего зова к равенству...

– Пусть вначале будут издержки – все равно эта идея манит людей.

– А вы не большевик, Лыпсе? – спросил Красницкий.

– Вы его не пугайте, – попросила Лида Боссэ, – не надо. Каждый должен говорить то, что думает.

– Если бы этот ваш совет был принят за основу большевиками, – обернулся к Лиде Никандров, – я бы записался в их партию...

– А они в партии говорят все, что хотят, – не унимался Лыпсе, – они все время ведут друг с другом дискуссию.

– Друг с другом – может быть, – ответил Никандров, – а со мной они не дискутируют. Да и с вами не будут: поставят к стенке – и точка.

– Может быть, они правы: они хоть что-то делают, они хоть во что-то верят, а вы предпочитаете стоять в стороне...

– Вы забываетесь, Лыпсе, – снова поднялся Красницкий, – господин Никандров совершил акт высокого гражданского мужества – он бежал от рабства Совдепии, он покинул самое дорогое, что у человека есть, – родину.

– А зачем же ее покидать? Не нравится, что происходит на родине, – сражайся с этим! Бежать всегда легче.

– Видите ли, – увидев побледневшее лицо Воронцова, медленно заговорил Никандров, – в том, что вы говорите, есть нечто здоровое. Вы, правда, судите со стороны, ибо для вас Россия – понятие абстрактное... А для нас это родина. У меня там остались друзья – в земле... Кого расстреляли, кто умер с голоду, кто пустил себе пулю в лоб. Борьба с народом, который, веруя, творит ужас и хаос? Допустимо ли это для литератора? Может быть, в данном случае позиция пассивного отстранения будет порядочнее? Я мог бы писать прокламации – льщу себя надеждой, что молодежь прислушалась бы ко мне. Но пристало ли писателю усугублять кровь и вражду? Может быть, сейчас важнее другое: отстранившись, наблюдать процесс и чувствовать себя готовым в любую минуту прийти обратно, когда – не народ, нет – когда те, кто народом пытается править, поймут, что без российской интеллигенции ничегошеньки сделать невозможно, что она, интеллигенция, вынесла на своих плечах все бремя борьбы с тупостью администрации, что она, интеллигенция наша, и в народ ходила, и знание несла в самые отдаленные уголки, и на каторгу шла с гордо поднятой головой, а ведь эти самые каторжники – дети генералов, банкиров, сановников – могли прожигать время в своих усадьбах да по Ниццам развезжать, – вот когда все это народоправители поймут, тогда надо будет вернуться домой. А сейчас – что же... Я за то, когда – «молодо-зелено», но я против того, когда «молодо-кровоаво»...

– Это угодно истории: молодое всегда побеждало старое. И возражать против того, что дети рабочих и крестьян становятся хозяевами университетских залов и императорских библиотек, – недостойно литератора.

– Возражать вам трудно. Вы оперируете высокими понятиями, а мне известна черная, варварская правда...

– А вы пытались помочь своему народу приблизиться к высоким понятиям, выступая против варварства?

– Не я должен навязывать себя режиму, но режим обязан прийти ко мне и мне подобным за помощью, когда почувствует, что не может далее удерживать стихию вандализма... И Совдепы к нам придут. Скоро. Очень скоро...

Юрла, поначалу скептически слушавший Никандрова, спросил:

– Я боюсь пророков, но, как все слабые люди, верю им. Когда вы говорите, что нынешние народоправители России поймут вашу роль в жизни страны, – вы опираетесь на факты?

– Я опираюсь на факты...

– Вот это мне, как газетчику, интереснее. Какие именно?

– Господи, таких фактов тьма! Да что далеко ходить: сегодня со мной в поезде ехал комиссар, так и он хотел деру дать и уж, наверное, тут остался, в Ревеле.

Воронцов рывком встал, поднял бокал:

– Зачем мы уходим от нашей темы: литератор и власть, муза и наган, свобода и подвал ЧК? Право слово, не стоит мельчить великое... Я предлагаю выпить за тех, кто остался там, дома...

После того как выпили, Юрла, достав из кармана блокнотик, спросил Никандрова:

– Фамилию комиссара не помните? А то, может, сами о нем напишете: мы неплохо платим за хлесткую информацию.

– Я, видите ли, информации писать еще не научился.

– Тогда честь имею кланяться, – сказал Юрла.

Воронцов догнал Юрла в гардеробе:

– Карл Эннович, вы про комиссара не пишете.

– Мне тогда вообще не о чем писать. Вы нашу читающую публику знаете – она не выдержит философского диалога этих гигантов.

– Лучше уж не пишете вовсе, чем эту тему трогать...

– Значит – правда? Есть такой комиссар? Узнаю ведь через полицию, кто сегодня приехал из Москвы, узнаю...

– Карл Эннович, я просил бы вас не трогать этой темы...

– Что, свой комиссар? – подмигнул Юрла, надевая пальто.

– Господин Юрла, я прошу вас не трогать эту тему.

– Все заговоры, заговоры... Надоели нам ваши заговоры, граф, хуже горькой редьки...

Пора бы серьезным делом заниматься.

– Вы можете дать мне слово, господин Юрла?

Юрла для себя решил не писать об этом комиссаре, как и о Никандрове, – ему это было не очень-то интересно, но сейчас ему, в прошлом наборщику, выбившемуся с трудом в люди, приятно было наблюдать за графом Воронцовым, который, покрывшись красными пятнами, униженно и тихо молил его, сына петербургского плотника.

– Не знаю, господин Воронцов, не знаю... У нас свобода слова гарантирована конституцией, – куражился он, – не знаю...

Это и решило его судьбу.

## Разность общих интересов

Раздевалась Мария Николаевна Оленецкая стремительно, бесстыдно и некрасиво. Как и большинство женщин, считал Воронцов, она только поначалу была совестлива. Потом то, что называется любовью, стало для нее жадной работой – она торопилась поскорее лечь в громадную постель, под душные, тяжелые перины, и совсем, видимо, не думала о том, что ее лифы, английские булавки, старомодные панталоны могут вызвать в нем, Воронцове, отвращение.

Он уже знал, что говорить с ней о делах сначала, в первые минуты встречи, бесполезно. Она сразу же начинала целовать его плечи и шею, и он в эти минуты чувствовал себя продажной девкой и ненавидел себя жалостливой, но отчетливой ненавистью.

Мария Николаевна поняла после встречи с Воронцовым, что вся ее прежняя жизнь была бессмысленной. Влюбилась она в него беспamięтно; мучительно страдая, отсчитывала дни до новых встреч с ним; она возненавидела время, которое отнимало у нее – неумолимо и безучастно – самое себя: уже сорок шесть лет ей, и каждый час несет с собой старость, ощущение собственной ненужности.

Встретился с ней Воронцов случайно: после Харбина он три месяца пил, перестал различать лица. В голове его мешались китайские, японские, эстонские слова; лишь когда он слышал русскую речь, особенно женскую, постоянное чувство тревоги оставляло его и он успокаивался, даже мог поспать – десять, двадцать минут без угнетавших его кошмаров.

В маленьком кафе Мария Николаевна пила свой кофе, а он – коньяк. Воронцов плохо помнил лицо женщины, но он услышал ее прекрасный, русский голос, и ему сделалось так нежно и спокойно, как давно не было. Он увел ее к себе – это было в субботу, – и все воскресенье прошло в кровати; он просыпался только для того, чтобы выпить воды, которую ему подносила женщина, и снова уснуть. С того дня он вышел из запоя, эта случайная встреча спасла его.

Узнав, кто такая Мария Николаевна, он поначалу отстранился от нее, но потом по-прежнему стал назначать ей свидания, потому что сейчас, после того как он вернулся к жизни, к политической борьбе, он хотел лишь одного: понять, что же это за люди – оттуда; чем они живут, чем разнятся от него и от тех, в чьем кругу он вращался. Оставляя у себя на ночь Марию Николаевну, он убеждал себя, что эти «несгибаемые» живут тем же, чем живут все люди на земле: любовью, нежностью, бесстыдством, страхом, радостью. Он, правда, никак не учитывал, что Оленецкая была стареющей женщиной, с неудачной, изломанной жизнью; не учитывал он и того, что в революцию она пришла случайно, через сестру, скорее корпоративно, чем осмысленно, и лишь после того как республика открыла свои посольства за границей.

Как-то раз, когда Оленецкая уснула, он закурил и долго лежал без движения – униженный, пустой – и думал: «Мы все так устали от грубостей, что стали уповать на кардинальное изменение наших жизней – будь то война, революция, – неважно, лишь бы что-то изменилось, сорвало накипь прежнего, перетряхнуло, а когда дождались, да и мордой об стол! мордой об стол! – начали делать наивные попытки вернуть то прошлое, которое ненавидели, когда оно было настоящим».

Он бы и расстался с ней, но однажды, когда он вышел из пансионата, где она теперь снимала комнату по субботам, к нему подъехала машина с дипломатическим номером, и господин в спортивном костюме, сидевший за рулем, сказал:

– Виктор Витальевич, позвольте подвезти вас.

– С кем имею честь?

– Отто Нолмар, торговый атташе Германии.

Он распахнул дверцу, и Воронцов сел рядом.

– Погода сегодня дрянная, – сказал Нолмар, – скользко, того и гляди занесет автомобиль.

– Вы говорите, как настоящий русский.

– Я рожден в Киеве, там и воспитывался... Хотите кофе?

– Нет. Спасибо. Хочу спать.

– Тогда разрешите быть предельно кратким?

Этот немец в гольфах и в шляпе с пером раздражал Воронцова своей холеной медлительностью и чрезмерно аккуратной манерой вести автомобиль.

– Виктор Витальевич, мы интересуемся той дамой, которая влюблена в вас, – шифровальщицей русского посольства... Мы – это Германия... Я предвижу ваш вполне справедливый гнев: с подобного рода разговорами вам сталкиваться не приходилось. Но, перед тем как вы потребуете остановить машину и скажете мне что-нибудь обидное, и это обидное в дальнейшем не может не помешать нашим отношениям, я просил бы вас выслушать меня не перебивая. Виктор Витальевич, русская эмиграция, даже наиболее организованная и решительная ее часть, ничего не сможет поделать с кремлевским режимом, не войдя в контакт с кем-нибудь из заинтересованных лиц в правительственных учреждениях Запада. Режим Кремля так силен, что повалить его, уповая на силы эмиграции и немногочисленного и распыленного подполья, никак невозможно. Если вы считаете, что я не прав, то разговор нам продолжать бесполезно...

Миновав перекресток, Нолмар неторопливо глянул на Воронцова. Тот молчал, сосредоточенно рассматривая ровную булыжную дорогу.

– Можно продолжать?

– Продолжайте.

– Благодарю вас. Я рад, что вы меня верно поняли. Германия сейчас переживает, пожалуй, самый трагичный период своей истории. Я знаю, что ваши симпатии были всегда на стороне Британии, я знаю, как вы подтрунивали над нами – филистерами и колбасниками. Но, согласитесь, колбасники умеют работать, и мы восстанем из пепла и еще скажем свое слово.

– При чем здесь шифровальщица русского посольства?

– Нас интересуют прежде всего экономические вопросы: с кем Кремль ищет торговых контактов, какими реальными средствами он располагает, это все шифруется.

– А какую помощь вы сможете оказать нашему движению?

– Естественно, вы не имеете в виду денежную помощь? Я бы не посмел ее вам предложить, потому что этим поставил бы вас в положение моего агента...

– А если мне понадобятся документы, немецкие железнодорожные билеты, германская экипировка?

– Латышские железнодорожные билеты, эстонская экипировка, литовские документы. Германия сейчас не в том положении, чтобы обострять отношения с Москвой. Да и потом, налаживая добрые отношения с Кремлем, вовлекая вашу родину в систему наших деловых взаимоотношений, мы вам куда как большую услугу оказываем.

Нолмар остановил автомобиль, не доезжая трех домов до квартиры Воронцова. С тех пор они виделись четыре раза, и встречи эти были полезными для них обоих. Поэтому-то Воронцов и не рвал с Оленецкой, как она ему ни была противна.

«Ничего, – думал сейчас Воронцов, осторожно отодвигаясь от разгоряченной Марии Николаевны на край кровати, – надо отдать себе отчет в том, что эмиграция обречена на гибель, если не подчинить гордыню разуму. Пусть Нолмар сообщает в Берлин, что я на него работаю, – ничего, пусть... Когда мы вернемся домой, сочтемся самолюбием».

– Что у тебя нового? – спросил Воронцов, раздавив папиросу в глиняной пепельнице. – Никаких известий из дома?

– Никаких, милый, – ответила Мария Николаевна.

Воронцову приходилось быть очень верным в разговорах с ней: он считал для себя невозможным требовать у этой несчастной женщины информации в обмен на любовь. Это, считал он, унижало бы в первую очередь его, а не ее. Он выстроил для своих с ней взаимоотношений иную форму: он говорил ей, что думает вернуться домой, но для этого ему надо точно знать,

к чему дома идет дело – к стабилизации и правопорядку либо же к новому кровопролитию, если большевики не смогут выпутаться из тех хозяйственных сложностей, в которых они так трагично завязли.

– А здесь что слышно? Что у вас?

– Ничего интересного, милый...

– Сколько раз ты говорила мне, что нет ничего интересного, а когда позже рассказывала подробности, я делал для себя очень важные выводы, и ты, именно ты, дважды спасла мне жизнь... Помнишь?

– Помню.

Она тогда рассказывала ему содержание шифровок о деятельности савинковцев в Польше и о требовании решительной борьбы с их представителями в случае, если они появятся в Ревеле. Воронцов сумел объяснить тогда Марии Николаевне, как для него важно это ее сообщение, ибо у него много врагов среди савинковцев.

Через нее он узнал и о приезде Пожамчи, а этой ночью она сказала, что сегодня Литвинов должен был посетить президента по поводу непрекращающейся враждебной деятельности белой эмиграции в Ревеле...

Карла Энновича Юрла зарезали в подъезде около полуночи. Окостеневшее тело нашли утром – длинно закричал молочник, привезший творог и сметану жильцам третьей и пятой квартиры...

...Ранним утром, когда еще не развиднелось и последний мороз казался сероватым, тяжелым, Воронцов, остановившись неподалеку от своего дома, увидел, как в полицейскую карету затаскивали Никандрова. Его били по шее, вталкивая в карету, а он кричал что-то свирепое и яростное.

«А ведь это, верно, его вместо меня взяли», – понял Воронцов и хотел было открыться полиции, но потом он решил, что Никандрова и так освободят, разобравшись в ошибке, а его они, видимо, освободить не станут, а после он понял, что, вероятно, и Никандрова не станут быстро освобождать, а, скорее всего, вышлют – хорошо, в Латвию, а то и обратно домой, и вспомнил он сегодняшнюю ночь, и Карла Энновича, и Оленецкую и увидел себя со стороны и подумал: «Будь же мы все трижды прокляты!»

И стало ему до того вдруг противно жить на этой земле, что он было подумал пойти к морю и утопиться, но потом вспомнил, как издевался над самоубийцами, и позвонил Нолмару.

– Вы уже знаете об арестах? – спросил Нолмар.

– Она сказала об этом ночью. Я не успел никого предупредить. Кто мог подумать, что президент так быстро подчинится их нажиму...

– О том, что зарезан журналист Юрла, тоже знаете?

– Как вы думаете, если большевики потеряют миллионов сорок долларов, – это для них будет ощутимо? – не отвечая на вопрос Нолмара, спросил Воронцов.

– Естественно... Они ведь выходят к барьеру – им торговать надо. Но, исчезнув там, где эти деньги объявятся?

– Где-нибудь да объявятся... Мне нужны документы, Отто Васильевич, билет до Москвы и денег – немного.

– Документ на чье имя?

– На любое, не суть важно...

– Это я понимаю... Фотография-то чья должна быть там?

– Моя.

– Ах, вот как... Тогда я повторю свой вопрос: где объявятся потом эти миллионы?

- Где-нибудь да объявятся...
- Тогда вы «где-нибудь» себе документы и заказывайте...
- Где бы им нужнее объявиться? – после долгой паузы, решив было вылезти из машины, но потом поняв, что положение его до унижительного безвыходное, спросил Воронцов.
- В Германии.
- Вы хотите, чтобы часть денег перешла в ваше пользование?
- Почему же часть? Все эти деньги должны перейти в наше пользование. За каждый доллар мы будем расплачиваться марками – по спекулятивной, естественно, цене.
- Но эти доллары не будут обращены Германией в пользу торговли с Совдепией?
- Мы, естественно, можем торговать с ними, но доллары нам нужны для торговли с Америкой. Россия удовольствуется ботинками, крахмалом и гайками.
- Моя организация будет вправе распоряжаться деньгами, даже если Советы станут третировать Берлин нотами?
- Вы хотите получить эти деньги противозаконно? – улыбнулся Нолмар. – Я не верю в то, что вы сможете на это пойти.
- Напиться бы до зеленых чертей, Отто Васильевич.
- Неплохая мысль.
- Когда будут готовы документы?
- Сегодня. И по улицам не ходите, не раздражайте полицию. А ваша подруга мне будет нужна в ваше отсутствие. Вы меня с ней познакомьте...
- Она в меня влюблена, ничего у вас не выйдет...
- Отто Васильевич рассмеялся:
- Поскольку в разведке я уже десять лет, женщина мною изучена, как «Отче наш»... Все идеалы растерял из-за этого, на своих сестер не могу смотреть без содрогания... Выйдет, Виктор Витальевич, увы, все выйдет. Это в нас, в мужчинах, – чувство долга, рыцарство, а в них – одна страсть: разбуди ее – и ты победитель.
- Скотство это...
- Правда это, а не скотство. Впрочем, правда от скотства отстоит недалеко: и то и другое должно быть предельно обнаженным. Но, если Мария Николаевна исключение, она будет помогать мне из любви к вам – такое тоже бывает.
- ...С Пожамчи Воронцов встретился на улице, перехватив его на пути в «Золотую крону» после того, как познакомил Оленецкую с Отто Васильевичем.
- Пожамчи был с Воронцовым излишне подобоострастен, веселился и вчерашнего не вспоминал. Причина такого резкого изменения в настроении Пожамчи заключалась в том, что сегодня, беседуя по поручению Литвинова с представителем французского ювелирного концерна «Маршан и К<sup>о</sup>» с глазу на глаз, он открылся ему и предложил сделку: француз готовит пару контрактов на продукты питания для Советов, но просит взамен не деньги, а камушки, именно те, которые подберет в Москве Пожамчи. Именно он должен был – согласно разработанной ювелирами партитуре – привезти эти камни в Ревель. Он должен был, как они задумали, привезти государственные драгоценности и – чтобы не было международного уголовного дела – свои, лишь ему принадлежащие, уникальные. Эти камни гарантировали ему пять процентов акций в пакете концерна «Маршан и К<sup>о</sup>».
- Рассчитав, что контракт для Совдепии люди Маршана подготовят в самом ближайшем будущем, Пожамчи прикинул, что обратно сюда ему надлежит вернуться через месяц, от силы – два. Он уговорился также, что на границе его встретят компаньоны с машиной; камни для Литвинова он перешлет послу, а с остальными драгоценностями в тот же день исчезнет.
- Поэтому, считал он, теперь Воронцов не страшен, а уж в Москве тем более. Поэтому Николай Макарыч шумно веселился, рассказывал хмурому Воронцову веселые анекдоты и жаловался на горькую жизнь дома...

Запомнив отзыв, сказанный ему Воронцовым, он обещал во всем помогать его посланцам. О том, что в Москву собирается сам Воронцов, он и предположить не мог...

*«Выписка из приказа по ВЧК, № 28/7*

в) откомандировать помначинотдела Владимирова Всеволода Владимировича в Эстонию для выполнения специального задания...

*Член коллегии ВЧК Кедров».*

## В Москве утром

Две шифровки из Ревеля Глеб Иванович Бокий получил одновременно. Первая гласила: «Неизвестный из Москвы высказывал в поезде Москва – Ревель желание остаться в Эстонии невозвращенцем. Август».

Вторая шифровка была более определенной: «Неизвестный сов. гражданин провел вечер вместе с белоэмигрантом Воронцовым. Беседу прослушать не удалось, однако отношения у них были самые дружеские. В случае, если это наш человек, срочно предупредите, чтобы я не тратил силы на наблюдение. Карл».

Отправив эти сообщения в соответствующие отделы, Бокий вызвал автомобиль и позвонил Владимирову.

– Всеволод, – сказал он, – документы вам готовы, красивые документы. Только почему вы себе в двадцатом выбрали псевдоним «Исаев» и за него сейчас держитесь, я понять не могу. «Максим Максимович» понимаю – Лермонтов, но фамилию, казните, не одобряю. За ней ни генеалогии нет, ни хитринки – торговая какая-то фамилия, право слово...

Он выслушал ответ «Максима Максимовича», посмеялся низким своим баском и предложил:

– Могу, Севушка, домой отвезти, если вы закончили свои дела. Спускайтесь к четвертому подъезду...

В старом, насквозь продуваемом студеным ветром автомобиле Бокий продолжал подтрунивать над Владимировым:

– Неубедительно, неубедительно, мой друг... И то, что вы Лермонтова отводите, а киваете на Литвинова, – тоже неубедительно и даже легкомысленно.

– Я у него на коленях сидел, Дедом Морозом называл.

– Это разъяснение устроит эстонскую контрразведку. Нет, меня больше донимает «Исаев»...

– Видите ли, Глеб, если идти от истории мировой культуры, то видно, что европейская цивилизация накрепко повязана единством, первородством христианства. Пророк христиан – Исайя... Но не зря меня отец заставлял зубрить фарси: Исса – пророк Мухаммеда. Одно из самых распространенных японских имен – Исси, – в честь их святой; тут я с буддизмом еще не до конца разобрался, посему не знаю, как смогу обернуть выгоду с Исаевым на Дальнем Востоке... Смотрите, что, таким образом, получается...

– Получается великолепный образчик религиозного большевика и космополита... Вроде Тургенева – в траковке Золя...

– Верно, – согласился Владимиров серьезно. – Я имею сразу же контактные точки с громадным количеством людей. Христиане – Россия, Болгария, Сербия – места горячие, сплошь эмигрантские – исповедуют Исайю; католики, протестанты, лютеране – то есть Европа и Америка – тоже. Но при этом не следует забывать, что происхождения Исайя иудейского... Разве это не тема для дискуссий с муфтием в Каире? Достаточно? Это пока я Японию опускаю, – хмыкнул Всеволод, – не время еще...

– Вы очень хитрый человек, товарищ Исаев.

– Это как понять? Умный?

– Ведь если дурак – хитрый, то его за версту видно. В наших комбинациях дурак необходим. Как кресало, о которое оттачиваешь нож. Обидно, что поколения запомнят только умных, а дураков, от коих мы отталкивались, забудут. Недемократично это. Я бы когда-нибудь воздвиг обелиск: «Дураку – от благодарных умных».

На Арбате Всеволод вылез из автомобиля: здесь он жил с отцом.

– Владимиру Александровичу поклонитесь, – попросил Бокий.

– Вы его помните?

– Сколько мы друг другу крови перепортили во время ссылки... Батюшка ваш хоть из «отзовистов», но в споре блестящ: порыв, эмоции, пафос.

Отец Всеволода – Владимир Александрович Владимиров – был худ, горбонос и сед. Волосы у него были вьющиеся, густые, и оттого, что они вечно стояли дыбом, он казался еще более высоким. Говорил он по-актерски, очень объемно, красиво и – о чем бы ни шла речь – горячо и заинтересованно.

Всеволода подчас удивляла эта горячность отца: он мог рассвирепеть из-за какого-нибудь пустяка, а в серьезном деле всегда был спокоен и расчетлив, только до синевы бледнел и чаще обычного приглаживал волосы костлявыми длинными пальцами.

– Большевистская оппозиция приветствует разведку, – проворчал отец, заталкивая в чемодан свои распухшие от записей блокноты, – чай на кухне, там же селедочка и, не могу не похвастаться, деревенское масло – выменял на том «Орлеанской девственницы» с иллюстрациями Шаронтье... Кулачок посчитал обнаженную натуру порнографией, очень заинтересовался...

– Ты поужинал?

– Да.

– А мандат получил?

– Я получил листочек бумаги...

– Если с печатью и подписью – это и есть мандат...

– Да, там кто-то наследил в нижнем правом углу.

– Старичок, милый, – попросил Всеволод, – ты со мной, надо мной, над нами – шути, но, когда ты будешь ездить по Сибири, пожалуйста, воздержись. Не все, увы, обладают чувством юмора, а если тебя там посчитают контрой, то я ничего не успею сделать, потому что буду вне Москвы.

– Значит, диктатура пролетариата шутку подвергает остракизму?

– Нет... Отчего же?..

– В вашем теперешнем положении не до шуток.

– У тебя есть какие-то радикальные предложения?

– Это демагогично, Всеволод...

– Вопрос не может быть демагогичным. Как правило, демагогичными бывают ответы.

Нет?

– Легче всего строить для себя баррикады из афоризмов, Всеволод. А ты вокруг посмотри! Почему вся та интеллигенция, которая зачинала основы социал-демократии, сейчас отринута?

– Ты сам себя отринул от практики нашего дела, папа.

– Я?! Ты говоришь... нечестно!

– Это опять-таки бездоказательно.

– Ты повторяешь все время – «бездоказательно»! Так докажи, что ты прав!

– Небо есть небо, солнце есть солнце, а земля есть хлябь, это очевидно, не нуждается в доказательствах. Я готов опровергать тебя, потому что ты, папа, стараешься убедить меня в том, что небо есть земля, а солнце – не что иное, как хлябь. Ты сейчас снова станешь говорить, что сначала мы предали марксизм, объявив красный террор контрреволюции, копируя, между прочим, Робеспьера, и теперь отворяем ворота капиталу, частнику, нэпману, а я буду отвечать тебе – это необходимо, и чем дольше мы не делали бы этого, тем критичнее становилась бы ситуация в республике. Ты станешь говорить мне, что запрещение газет меньшевиков, эсеров и левых кадетов неконституционно, а я стану спрашивать тебя: что нам было делать, когда на нас шли Деникин, Юденич и Колчак? Когда горит дом, надо тушить пожар, а не дискутировать по

поводу того, чем тушить лучше: песком или водой. Ты, прости, папа, предлагал именно такую дискуссию. А мы дрались и тушили. И не потуши мы – Юденичи и Деникины вас, меньшевиков, вместе с нами на столбах вешали бы. Вы имели возможность начинать вместе с нами... Вы обиделись, вы раздумывали, вы упустили время. И вместо вас комиссарами стали матросы и рабочие, которые учились грамоте, подписывая приказы на расстрелы.

– Откуда в тебе столько холода, Сева? Столько сильного холода?

– Папа, я никогда не посмел бы спросить тебя: откуда в тебе столько легкой безответственности и ущемленного честолюбия?

– А спросил, – тихо сказал отец.

– Спросил... – Всеволода вдруг обожгло обидой. – А как нам было иначе? Взяли власть, провозгласили диктатуру, а потом увидели, что здесь не сходится, там трещит, – и в кусты? Бежать? Бросить все, от всего отказаться? Это жестоко было бы, папа! По отношению к людям, к России! К мечте, наконец! Ты меня тычешь носом в нашу повседневность, в бюрократизм, тупость, идиотизм, жестокость, сплошь и рядом темную, бессмысленную, необузданную, а мне это, между прочим, известно не менее, чем тебе, а куда как более!

Всеволод отошел к окну, присел на подоконник и оттуда продолжал – как бил:

– Нам трудно, мы все про себя понимаем, а десятки тысяч таких вроде тебя умниц – стоите в сторонке и над нами посмеиваетесь. А вы помогите! Вы смеетесь, а матрос вас за это еще больше ненавидит: «У, интеллигенты проклятые, от них все беды в жизни! Еще Горький им пайки требует, из квартир выселять не дает». Папа, жизнь есть данность: ее надо сначала принять такой, какая она есть, а после уж перелопачивать... Благодарю Ленина, что Корнилов не стал диктатором в августе: тогда бы ты скорбел о судьбах марксизма не в нашей квартире, а на каторге.

– И меня б это больше устроило, чем... – отец не договорил. Поднялся медленно и, шаркая ногами, обутыми в старые, разношенные башмаки, пошел в прихожую. – Всякое государство должно быть похоже на садовника, который заботлив ко всем цветам – даже не очень-то модным по сезону. А вы и плевела и злаки – все скопом...

– Папа, когда в церквях колокола бьют, голуби тоже разлетаются, страшно им, и вороны вместе с ними летят... Разве нет? На который час заказать тебе завтра автомобиль? Поезд в шесть сорок?

– Вороны на автомобилях не ездят, вороны пешком дойдут...

Всеволод улыбнулся, подошел к отцу:

– Не надо ссориться, папа, разъезжаем ведь...

Отец посмотрел на него – и столько в его взгляде было тоски и нежности, что сердце у Всеволода замерло и он прижался к отцовской щеке, обнял его худую, желтоватую, в маленьких морщинках шею и замер так – как в детстве, когда не было для него на земле человека сильнее, справедливее и добрее, чем папа. И вдруг Всеволод почувствовал, как сотрясается спина отца, и ему стало страшно, потому что он никогда не видел отца плачущим, и он боялся сейчас оторваться от отцовской щеки и только прижимался к старику все теснее и теснее, как щенок, которого прогоняют...

– Что ты, папа, – наконец проговорил он, – ну что ты, родной, папочка, что ты...

– Бог тебе судья, – тихо сказал отец, и спина его перестала сотрясаться, но Всеволод ощутил на своей щеке его холодные слезы.

*«По поводу проекта директивы Малому СНК.*

Тов. Цурюпа! У нас, кажется, остается коренное разногласие. Главное, по-моему, перенести центр тяжести с писания декретов и приказов (глупим мы тут до идиотства) на выбор людей и проверку исполнения. В этом гвоздь.

Негоден Малый СНК для этого? Допустим. Тогда Вам и Рыкову<sup>13</sup> надо 9/10 времени уделять на это (от Рабкрин и управдела смешно ждать большего, чем исполнение простых поручений). Все у нас потонуло в паршивом бюрократическом болоте “ведомств”. Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомства – говно; декреты – говно. Искать людей, проверять работу – в этом все...

*Ленин».*

Ленин сидел неподвижно, чувствуя, что если сейчас он шевельнется, то не сможет дальше спокойно слушать Альского, нового замнаркомфина, которого только что привез к нему Каменев<sup>14</sup>, и, возможно, будет резок, а ведь Альский – человек ему незнакомый, судя по всему, не из бойцов, а скорее из толковых исполнителей.

– Я убежден, Владимир Ильич, что в ближайшее же время работа Гохрана будет налажена, – продолжал говорить Альский, – и мы будем рапортовать вам о готовности этого золотого хранилища республики стать в строй нашей борьбы наравне со всеми звеньями наркомата. Мы убеждены, что в ближайшее же время сможем подготовить и бриллианты и платину для отправки в Европу, чтобы закупить продукты для голодающих. Мы понимаем, сколь велика наша ответственность, и мы добьемся коренного перелома в работе...

– Ну, хорошо, – поморщился Ленин, – вот вы рассказали нам о беспорядках в Гохране и нарисовали радужную картину счастливо-благополучного будущего. Что дает вам уверенность в этом будущем благополучии?

– Мы провели две ревизии – очень тщательные, дотошные; сейчас готовим новый проект организации учета хранимых ценностей; мы усилили политико-воспитательную работу среди тамошнего аппарата...

– Слова, слова, одни слова! Кого вы наказали – сурово, в назидание другим? Кто виновен конкретно в халатности, в плохой организации учета? Кого вы пригвоздили в газете за безалаберность?

– Мне казалось невозможным, – ответил Альский, – выносить наши вопросы в печать...

За несколько дней перед этим к Ленину пришел Рыков.

– Владимир Ильич, – сказал он, – меня тут мучает червь сомнений, и я, естественно, к вам – за советом.

– Давайте вашего червя, – улыбнулся Ленин, – попробуем разобраться с червем, хотя мне это, признаться, в новинку...

– Дело вот какого рода... Мы проводим четвертый после победы Октября съезд, и на этом фактически утверждающем нашу победу над интервенцией и белыми съезде мы – как я могу предположить из бесед с товарищами – снова прежде всего будем отводить место критике, самокритике, дискуссии...

– Это закономерно...

– Да, но на этом съезде будет еще большее количество коммунистов из-за рубежа... Мы печатаем наши отчеты в газетах, их немедленно переводят в странах Антанты... Не подорвем ли мы веру в самих себя, в практику нашей борьбы и строительства у наших товарищей за границей.

– А что же вы предлагаете? Выделить специальную редакционную комиссию? Зачем же тогда нам собирать съезды? Нет, батенька мой, давайте-ка научимся выслушивать в свой адрес самые горькие слова, если они, естественно, продиктованы заинтересованностью нашим делом. Злобствование или сумятица отличима немедленно и сугубо безопасна для нас, ибо за такими

---

<sup>13</sup> Расстрелян в 1938 г. – Ю. С.

<sup>14</sup> Расстрелян в 1936 г. – Ю. С.

словами не пойдет рабочий и не поверит в них. А что касается наших товарищей за границей, то эта статья особая... Поймут они нас на этом этапе или не поймут, поверят или разуверятся – сие вторично. Процесс, который происходит в мире, – объективен. Оглядываться на выражение лиц у друзей негоже, когда врагов существует предостаточно. Мы вексель на доверие к себе завоевали четырехлетней борьбой с армиями четырнадцати стран. Мы за ту посильную моральную помощь, которую нам оказывали рабочие Европы и Америки, – благодарны и этого им никогда не позабудем, но смотреть следует правде в глаза: материальную помощь им сможем оказать только мы – опять-таки больше пока некому. Да уже и оказываем – самим фактом своего существования: капиталист Англии начал больше платить своему рабочему, потому что опасается, что коли он добровольно давать не станет, так отнимут – благо русский пример памятен всем. Нет, нам в нашем деле ни на кого оглядываться нельзя, а глазки строить в политике недопустимо. Надо смотреть в глаза своему народу, тому, который смог взять власть в свои руки, отстоять свою власть, а теперь эту власть хочет в сфере самой сложной, отчаянно трудной – хозяйственной – выверить и затвердить на многие годы вперед. Всегда надо поначалу думать о том народе, который свершил революцию и защитил ее, – остальное приложится.

...Альский, заметно волнуясь, говорил:

– Владимир Ильич, мы обещаем в течение ближайших же дней выправить положение в Гохране и без скандальных заметок в газете. Все развивается, по нашему убеждению, самым лучшим образом – особенно после ваших, столь для нас бесценных советов...

– Так, – прервал его Ленин. – Хорошо. Даем вам сроку месяц, товарищ Альский. Месяц. За это время вы обязаны наладить все гохрановские дела. И без болтовни и криков «ура», – больше серьезности и поменьше пышных реляций. Обязательно свяжитесь с Рабкрином и ЧК – без их помощи дело, я боюсь, с мертвой точки не сдвинется, несмотря на ваш оптимизм.

Ленин сделал у себя в календаре быструю пометку и сухо закончил:

– Благодарю вас. До свидания.

Альский поднялся.

– А вы, товарищ Каменев, пожалуйста, не сочтите за труд задержаться, – попросил Ленин, когда Альский пошел к двери. Ленин поймал себя на том, что ему жаль этого человека, но он понимал также, что иначе говорить с ним не мог, попросту не имел права, ибо человека поставили отвечать за золотое хозяйство республики.

– Что вы скажете? – спросил Ленин Каменева, когда Альский вышел. – Я был резок? А что прикажете делать? В стране хаос, деньгами скоро мужик начнет избы обклеивать, а товарищ Альский полон радужных надежд!

– Я могу понять его, Владимир Ильич!

– Ну те-ка... Помогите и мне...

– Всякий перелом в политике, особенно такой резкий, как нэп, ставит наших кадровых партийцев, да и не может не ставить, перед ножницами – слова и дела...

– Слово и дело? Это пароль опричнины, Лев Борисович. Что-то не увязываю в целое вашу мысль.

– Слово – «мировая революция», дело – «развитие и налаживание товарного хозяйства», при котором, – Каменев улыбнулся, – цитирую Ленина, «о социализме смешно и говорить»...

– Между прочим, я экономист, а не пророк. Потом, учтите, писалось это в начале века о стране, где все ключевые рычаги были сосредоточены в руках царской администрации и нарождающейся буржуазии. Да, да, по-прежнему да здравствует мировая социалистическая революция – и не слово, но дело, именно дело! Мы должны доказать нашему рабочему и крестьянину, от которого получили вексель на доверие, что мы хозяйствовать, – то есть обеспечивать его работой и отменно за работу платить, – можем и будем: чем дальше, тем слаженнее и четче. Товарное же производство в стране, где все ключевые рычаги находятся в руках пар-

тии, – совершенно иное; это подлежит рассмотрению и переосмысливанию. Армия, дипломатия, тяжелая индустрия, железные дороги, внешняя торговля – все в наших руках; этим и пристало заниматься правительству в крестьянской стране, где городской пролетариат взял власть в свои руки. Правительство погрязнет в мелочах, если ему придется решать вопросы: где отгладить костюм или починить башмаки трудящемуся – это все пусть делает нэпман, да-да, нэпман, мелкий хозяин, а еще лучше – кооператив, который постепенно организуется в индустрию народного обслуживания... А нам надо научиться не погрязать в бюрократических, изводящих душу и выхолащивающих идею мелочах, но подняться над суетой и подумать о вещах отправных, главенствующих – на долгие годы вперед: и об электрификации страны, и о строительстве металлургии, и о революционном техническом перевооружении нашего крестьянства. А многие наши товарищи, растерявшись – ах-ах, реставрируем капитализм, – начали прямую, внешне, правда, маскируемую отчетами и речами, симуляцию новой экономической политики. А русский рабочий, у которого нет ни еды, ни башмаков, почешет затылок да и скажет: «Нет, товарищи, большевики, оказывается, горазды лишь на словах, а на деле они – полнейшие растеряхи и лапти и управлять им не РСФСР, а – в лучшем случае – какой-нибудь тьмутараканью!» И вексель заберут! Только – правде в глаза! Иначе – погибнем и загубим великое дело, а этого уж нам никто не простит! Сейчас быть революционером-марксистом означает только одно: уметь хозяйствовать – с выгодой и пользой, хитро, сильно; уметь торговать лучше капиталиста, производить пальто и башмаки – лучше капиталиста, кормить в столовой лучше, чем у капиталиста, иметь санатории для рабочего, которых нет у капиталиста, – вот что значит продолжать быть революционером. Быт есть быт, это самое надоедливое, суетливое и неинтересное в хозяйственной политике. Вы о нем забудете, да и я, впрочем, тоже. А нэпман, получающий с быта дивиденды, будет про эти свои дивиденды всегда помнить. Он нам развяжет руки в главном, приняв на себя мелочные – отнюдь не государственного размаха – заботы. И бояться этого, бояться того, что кто-то что-то о нас не так подумает, – это от суетливости, – словно продолжая спор с Рыковым, закончил Владимир Ильич.

Каменев собрался уж было уходить, когда Фотиева принесла Ленину несколько телефонограмм: из Наркомвнешторга, ВЧК, и Главтопа. Ленин быстро просмотрел первые три листочка, а на последнем словно бы споткнулся. Он перечитал телефонограмму несколько раз, лоб свело двумя резкими продольными трагичными морщинами. Он позвонил наркомюсту Курскому.

– Товарищ Курский, я получил данные, что три работника Главтопа, откомандированные в Швецию для закупки оборудования, истратили почти все деньги, не выполнив порученной им работы. Я предписываю вам немедленно отозвать этих людей, а ежели позволяют обстоятельства дела и корыстная их вина будет доказана документально – арестовать, судить и сгноить в тюрьме! Россия голодает, а три коммунистических чинуши резвятся в Стокгольме, изволите ли видеть! Да, пожалуйста...

Ленин опустил трубку и тяжело посмотрел на Каменева:

– Прикажете поступать иначе? Жестоко? Корпоративной доброты ждут – раз единомышленники, так все чтоб по-семейному?! Не выйдет. Пусть потом обвиняют в жестокости – важно, чтобы она была справедливой, объективной, а не личной.

Проводив Каменева, Ленин сел к столу, пометил в календаре: «Академик Рамзин<sup>15</sup>. Котлы. Троцкий, Фрунзе, Тухачевский<sup>16</sup>, Уборевич<sup>17</sup> – вопросы теории армии. Крестинский<sup>18</sup> –

---

<sup>15</sup> Арестован в 1929 г. – Ю. С.

<sup>16</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

<sup>17</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

<sup>18</sup> Расстрелян в 1938 г. – Ю. С.

возможный посол в Берлине, вызвать. Бухарин<sup>19</sup> – о среднем крестьянстве и т. н. “справном мужике”».

Ленин глянул в окно. Весеннее небо было тугое, тяжелое, в два цвета – густо-синее и марево-красное. Гомонило воронье. Малиново перезвонили куранты, ударили время. Ленин проверил свои часы и включил лампу.

\* \* \*

«...Я все надеялся, что приток новых работников в коллегия Рабкри оживит дело, но из расспросов Сталина не мог видеть этого. Прошу черкнуть мне, а потом устроим, буде надобно, свидание. У вас 8000 штат, вместо 9000. Нельзя ли бы сократить до 2000 с жалованием в 6000 (т. е. увеличить втрое) и поднять квалификацию?

Если Аванесов<sup>20</sup> скоро приедет, покажите ему тоже.

С коммунистическим приветом

*Ленин».*

«Попробуйте сопоставить с обычным, ходячим понятием “революционера” лозунги, вытекающие из особенностей переживаемой полосы: лавировать, отступить, выжидать, медленно строить, беспощадно подтягивать, сурово дисциплинировать, громить распушенность... Удивительно ли, что некоторых “революционеров”, когда они слышат это, охватывает благородное негодование, и они начинают “громить” нас за забвение традиций Октябрьской революции, за соглашательство с буржуазными специалистами, за компромиссы с буржуазией, за мелкобуржуазность, за реформизм и прочее и тому подобное!»

«Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту: за это нас всех и Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят... Почему не возможен приговор типа примерно такого:...объявляем виновными в волоките, безрукости, в попустительстве бюрократизму и объявляем строгий выговор и общественное порицание, с предупреждением, что только на первый раз так мягко караем, а впредь будем сажать за это профсоюзовскую и коммунистическую сволочь...»

«В 1921 году на III конгрессе (Коминтерна. – Ю. С.) мы приняли одну резолюцию об организационном построении коммунистических партий и о методах и содержании их работы. Резолюция прекрасна, но она насквозь русская, то есть все взято из русских условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. Плохая потому, что ни один иностранец прочесть ее не сможет... она слишком длинная. Таких вещей иностранцы обычно не могут прочитать... Если в виде исключения какой-нибудь иностранец ее поймет, то он не сможет ее выполнить... У меня создалось впечатление, что мы совершили этой резолюцией большую ошибку... Резолюция отражает наш российский опыт, поэтому она иностранцам совершенно непонятна, и они не могут удовлетвориться тем, что повесят ее, как икону, в угол и будут на нее молиться. Этим ничего достигнуть нельзя. Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю...»

---

<sup>19</sup> Расстрелян в 1938 г. – Ю. С.

<sup>20</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

«Вся работа правительства... направлена к тому, чтобы то, что называется новой экономической политикой, закрепить законодательно в наибольшей степени для устранения всякой возможности отклонения от нее».

«Об образовании СССР... Одну уступку Сталин уже согласился сделать. § I сказать вместо “вступления” в РСФСР – “Формальное объединение вместе с РСФСР в союз советских республик Европы и Азии”.

Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию...»

«Объявить строгий выговор Московскому комитету за послабления коммунистам... Подтвердить всем губкомам, что за малейшую попытку “влиять” на суды в смысле “смягчения” ответственности коммунистов ЦК будет исключать из партии... Циркулярно оповестить НКЮст (копия губкомпартам), что коммунистов суды обязаны карать строже, чем некоммунистов...»

P. S. Верх позора и безобразия: партия у власти защищает «своих» мерзавцев!!!»

«Мы можем... сделать из городского рабочего проводника коммунистических идей в среду сельского пролетариата.

Я сказал “коммунистических” и спешу оговориться, боясь вызвать недоразумение или быть слишком прямолинейно понятым... До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно, это будет, можно сказать, губельно для коммунизма...»

## К истории вопроса

За полгода до того, как Альского вызвал Ленин, сведения о неблагополучном положении в Гохране дошли до Рабоче-Крестьянской Инспекции. Нарком Сталин пригласил своего заместителя Аванесова и, по обыкновению прохаживаясь по большому кабинету, – он попросил соединить воедино три комнаты, чтобы окна выходили не только на улицу, но и во двор, – негромким глуховатым голосом сказал:

– Если то, что болтают о Гохране, хоть в незначительной толике соответствует правде и эта правда откроется, – этим не преминет воспользоваться товарищ Троцкий, для того чтобы на ближайшем Политбюро повторить свои нападки на систему Рабоче-Крестьянской Инспекции. Если же никакого хищения народных ценностей нет, то именно РКИ должна взять под защиту честь и достоинство старых спецов. Достаточно товарищ Троцкий жонглирует примерами честной работы военспецов в своем ведомстве – не он один думает о привлечении к работе старых специалистов. Подберите Цепких, опытных людей и бросьте их в Гохран контролерами. Это не обидит, не может обидеть работников Гохрана, и это гарантирует республику от каких-либо – не только в настоящем, но и в будущем – хищений.

Через три дня инспекционный отдел предложил Аванесову кандидатуры трех работников: Козловская, Газарян и Потапов. Аванесов предполагал побеседовать с каждым из предложенных товарищей, но свалился в тяжелейшей, с осложнением на легкие, инфлюэнце. Сталин был занят в Наркомназе и ЦК, и эти три человека автоматически перешли из системы РКИ в Гохран. Однажды на оргбюро наркомфин Крестинский перекинулся со Сталиным несколькими словами – и тот и другой знали Козловскую по временам подполья, да и жила она сейчас в Кремле, только в Кавалергардском корпусе, в квартире рядом со Стучкой. Крестинский, правда, еще не переехал в Кремль из Второго дома Советов, бывшего «Метрополя», но это не помешало ему сразу же вспомнить Козловскую и поблагодарить Сталина за то, что он прислал в Гохран такого надежного и проверенного, сугубо интеллигентного работника.

– Товарищ Крестинский, – усмехнулся Сталин, – я запомню эти ваши слова: вы первый нарком, который благодарит нас за контролера. Об этом я непременно расскажу товарищу Демьяну – пусть он напишет басню, но опубликуем мы ее попозже, лет через десяток – в назидание потомству. Если же говорить серьезно, я рад, что вы верно поняли эту нашу акцию, спасибо вам за разумную доброту по отношению к бедному Рабкрину...

Пожамчи остро приглядывался к трем контролерам. Он попросил оценщика Шелехеса зайти к Левицкому, начальнику Гохрана, в прошлом председателю Ссудной кассы, и договориться с ним, чтобы именно они, Пожамчи и Шелехес, и никто иной, провели контролеров по Гохрану, показали им драгоценности, хранившиеся здесь, и ввели их в курс дела.

– Согласитесь, товарищ Левицкий, – Шелехес подчеркнуто называл Евгения Евгеньевича Левицкого, бывшего тайного советника, «товарищем» – и в беседах один на один, и на совещаниях, и на профсоюзных отчетах, – согласитесь, что новым коллегам будет трудно самим входить в русло наших ювелирных тонкостей... Им надо помочь так, чтобы они с первого же дня верно сориентировались.

«У, сволочь, до чего хитер, – думал Левицкий, глядя на красное, квадратное лицо Шелехеса, – ведь облапошит бедных комиссаров, не иначе...»

Зарплату, как теперь по-новому называли «оклад содержания», Евгений Евгеньевич получал, как и все в охране, мизерную, но сильно выручал паек: давали воблу, сахар и муку. В первые месяцы, получив этот пост, Левицкий был несказанно удивлен и обрадован. Он понимал, что только избыточная честность может сохранить ему это, в общем-то свалившееся на голову, совершенно неожиданное счастье – сытость. Пусть смехотворная – в сравнении с той,

которая была ему привычна до переворота, – но ведь благополучие забывается куда как быстрее, чем горе и голод.

Но, после того как ввели нэп, жизнь в столице начала стремительно меняться: не пойдешь, то ли несется в неизвестное «завтра», то ли, наоборот, так же стремительно откатывается в прекрасное и благодушное «вчера». Открылись маленькие кафешки на Арбате, невесть откуда в лавчонках появилась ветчина; бургундское – этикетки с потеками, грязные, истинная французская беспечность; извозчики приосанились, в голосе появились прежние почтительные нотки при виде хорошо одетого человека. Заметив это острым глазом человека, всю жизнь дававшего ссуды, Левицкий вдруг понял, как же, в сущности, он жалок и несчастен – со своей воблой и толстыми мокрыми блинами, которые так старательно и неумело пекла жена.

Примерно через неделю после разрушения частной торговли к нему зашел Шелехес, долго унижал его своим нагло произносимым «товарищем», а потом, положив на стол сафьяновую подушечку с бриллиантами, сказал:

– Евгений Евгеньевич, мы с Пожамчи просим вас быть третейским судьей: тут десять камней – вот накладная, – Шелехес подвинул Левицкому вощеную бумагу, удостоверявшую количество камней и их каратность, – но мы с Николаем Макаровичем расходимся в оценке бриллиантов. Назовите, пожалуйста, вашу сумму.

– Оставьте, – несколько удивленно ответил Левицкий, ибо такая просьба была по меньшей мере странной: и Шелехес и Пожамчи славились своим фантастическим знанием камней не только в России, но и в Британии, и Голландии, и Франции.

Когда Шелехес ушел, Левицкий посмотрел камни через лупу: бриллианты были прекрасные, чистые, с голубым высверком, видно, южноафриканские, от буров. Он рассеянно пересчитал мизинцем камушки и удивился: бриллиантов было двенадцать. Он не поверил себе, пересчитал камни еще раз. Сомнения быть не могло – вместо десяти, указанных в накладной, на красном сафьяне лежало двенадцать бриллиантов. Эти два лишних камня, сразу же – несколько даже автоматически, независимо от своей бескорыстно-честной щепетильности – прикинул Левицкий, стоили не менее семи тысяч золотом.

Левицкий знал, что родственники у Шелехеса какие-то важные большевики, поэтому он снял трубку телефона и позвонил в отдел оценки бриллиантов:

– Гражданин Шелехес, вы, вероятно, ошиблись: здесь больше...

Шелехес перебил его, закрутился – суетливо, быстро:

– Да что вы, товарищ Левицкий! Вы, видимо, плохо считали, сейчас я к вам забегу, что вы, товарищ Левицкий!

Левицкий похолодел: он не мог понять – проверяет его большевистский родственничек или то, о чем он поначалу даже испугался подумать, – правда. Шелехес пришел к нему через минуту, рассыпал бриллианты по столу, пересчитал, отложил в сторону два, самых крупных:

– Я же говорил – десять, товарищ Левицкий. Ровно десять. – Он посмотрел ему в глаза и добавил: – А извозчик вас уже дожидается, вы ж просили вызвать пролетку... Я вас заодно и провожу.

Он зажал два камня в большой руке, остальные десять спрятал в коробочку и, опустив в карман, довел Левицкого до выхода, подсадил в пролетку и тогда, словно бы пожимая руку при прощании, насильно всунул в потную, холодную ладонь Левицкого два ледяных камушка...

Часа два Левицкий кружил по городу. Сначала он чувствовал страх – противный, мелкий, леденящий душу. Потом, убедившись, что за ним никто не следит, он успокоился, и тоска овладела им. «Проклятые большевики, – думал он, – я всегда был честен, и все знали, что я честен, а они довели меня до того, что я стал преступником». Возле Серпуховки он отпустил извозчика и долго бродил по замоскворецким, милым... его сердцу переулкам, ныне запустелым, тихим, затаившимся. Он не заметил, как вышел к грязному берегу пересохшей Яузы возле Каменного моста.

«Бросить эти проклятые камушки в воду – и дело с концом, – подумал он, – никто ничего не узнает, а если Шелехес попробует шантажировать – заявлю в милицию. Хотя нет... Это уже будет слишком – не только взяточник, но и доносчик. Я никогда не посмею донести – он и это учел».

После Левицкий никак не мог объяснить себе, отчего он оказался возле особняка на Дмитровке – там жил старик Кропотов, патриарх московских ювелиров трижды дававший в долг Левицкому: первый раз, когда Евгений Евгеньевич уезжал со своей содержанкой Ингой Азариной в Биарриц, второй раз, когда выдавал дочь замуж, и третий раз, за неделю перед переворотом, когда совершал купчую на дачу в Кунцеве.

Кропотов, словно бы дожидаясь Левицкого, заохал, запричитал, провел в свое, как он говорил, зало, усадил в кресло, долго расспрашивал про здоровье, вспоминал пропажу юсуповского изумрудного ожерелья, утер слезу, рассказывая о добрых причудах графини Воронцовой, а потом, без всякого видимого перехода, только чуть понизив голос, сказал:

– Евгений Евгеньевич, я все знаю, ко мне Шелехес забегал. Пять тысяч золотишком вот тут, – и он протянул Левицкому бумажник, – товар с вами? Или надо куда подъехать.

Левицкий молча протянул ему два бриллианта и, не попрощавшись, ушел. Напился он в тот вечер до остекленения, взял девочку – маленький огрызок, под гимназисточку работала, промучился с ней до утра в каком-то холодном пустом подвале на Палихе и домой вернулся уже под утро, протрезвев от дурного предчувствия: ему казалось, что там ждет засада. Но засады не было. Заплаканная жена сидела с топором в руках: она с детства боялась грабителей...

– Так что? – настойчиво переспросил Шелехес. – Вы позволите нам ввести контролеров в суть дела?

Левицкий брезгливо поинтересовался:

– А я что – не смогу этого сделать?

– Конечно, товарищ Левицкий, вы это можете сделать значительно лучше...

Левицкий достал металлическую коробку «Лаки Страйк» («Огромных денег стоит», – немедленно отметил про себя Шелехес), закурил, не предложив сигареты собеседнику, и сказал:

– Камней больше не давайте, не надо. Три тысячи золотом ежемесячно будете передавать мне – и не здесь, конечно, а возле Третьяковской галереи, в последний вторник.

– Да откуда же мы ежемесячно – три тысячи, товарищ Левицкий...

– Я вам не товарищ, это вы попомните на будущее, а откуда вы станете ежемесячно доставать три тысячи – меня не интересует. Провалитесь – в ваших интересах обо всем молчать, экспертизу, видимо, мне придется проводить, и я буду определять вашу работу как порядочную, избыточно честную либо как невольню халатную, либо, – Левицкий поднял палец, – как преступную, корыстную...

– О последнем, – возразил Шелехес, – советовал бы много раз подумать: Кропотов станет говорить то, что прикажу ему я, – он деньги-то мои вам передавал, Евгений Евгеньевич... И не мешайте мне, когда я стану водить контролеров. И будьте со мной в их присутствии строги, но обязательно уважительны...

С этим он вышел из кабинета, а Левицкий долго сидел в прежней позе, не в силах сдвинуться с места: слишком уж оскорбителен был и тон Шелехеса, и его слова, а сам он, тайный советник и кавалер, беспомощен и открыт для удара в любое время – отныне и навсегда.

Пожамчи и Шелехес встретили контролеров у входа; здороваясь, крепко пожали им руки. Пропуская Козловскую вперед, Шелехес заметил:

– Нас, кажется, знакомил мой покойный брат...

Мария Игнатьевна достала из маленькой потертой сумочки пенсне, внимательно посмотрела на Шелехеса и ответила:

– А я что-то не помню. Представьтесь, пожалуйста...

– Яков Шелехес... Мой брат, Исая, умер в девятнадцатом году, в бытность секретарем Курского губкома, от голодного туберкулеза... А я бриллианты сортировал...

Он распахнул дверь в хранилище драгоценных камней, Козловская задержалась на пороге:

– Простите... Исаю я знала, это был великолепный товарищ... У меня слаба память на лица...

Шелехес начал рассыпать перед Козловской камни, они высверкивали – глубинно и таинственно – при неярком свете электрических ламп, и Шелехес – помимо своей воли – понизил голос:

– Вот это романовские изумруды, они с редкостной синевой, а потому их реальная стоимость практически не может быть определена. Камни, по-моему, привезены в семнадцатом веке и не иначе как из Индии.

– Здесь очень душно, вы не находите? – спросила Козловская, и Шелехес от ее спокойного голоса, от того, что она так рассеянно смотрела на камни, растерялся:

– Где душно?

– Здесь, – ответила Козловская. – И ужасно пахнет нафталином.

– Это от коробочек, мы сафьян пересыпаем нафталином, чтобы сохранить все в целости. Раньше коробочки делались на заказ в Бельгии, подбирались соответствующие оттенки сафьяна – особого, ворсистого, не роняющего камни...

– Вы поэт своего дела, – улыбнулась Козловская, – будете моим добрым гидом.

– С удовольствием. Хотите посмотреть золото?

– Меня, право, не очень все это интересует...

А Пожамчи в это время водил по золотому отделу Газаряна и Потапова, рассыпая перед ними монеты, портсигары, кольца, брелоки, часы. Сам Пожамчи золота не любил, считал его тяжелым и неинтересным, откровенно купеческим, без той внутренней тайны, которая была сокрыта в каждом камне.

Так же как Шелехес, он жадно вглядывался в лица контролеров, рассыпая перед ними диковинные богатства.

– Чье это раньше было? – спросил Потапов, видимо из матросов, шагавший вразвалку, чуть косолапо.

– Буржуев, – ответил Газарян, – чье же еще, по-твоему?

– А сколько, к примеру, этот портсигар потянет?

– Смотря на каком рынке. Рынков-то много: и оптовый, и черный, и международный... На черном рынке этот портсигар больших денег стоит, но я с черным никогда связан не был, не знаю, а ежели перевести на международный, то долларов девятьсот выньте и не грешите, – ответил Пожамчи.

– А это сколько – девятьсот долларов? Там вон и камушки всякие в него вделаны...

– Ну, камушки эти особой цены не имеют, настоящие камни стараются не прятать в оправу, чтобы дать возможность играть граням... Здесь важна форма – видите, как хорошо в ладонь ложится? Ну и вес, конечно. Половине Гохрана, – засмеялся Пожамчи, – можно коронки вставить из этого портсигара.

Когда Пожамчи закончил экскурсию и объявил контролерам, из чего исходят оценщики, определяя истинную стоимость той или иной драгоценности, Потапов недоуменно вздохнул:

– На это золото хлебушка можно всей России купить, чего же мы голодаем?

– Ну, это не нашего ума дело, – возразил Пожамчи, – правительство знает, куда золото тратить, там люди высокого ума сидят и об народе не меньше нас думают...

– Как будем организовывать работу? – спросил Газарян.

– Как вам покажется нужным, товарищ, – ответил Пожамчи.

– Я думаю, оценку вы будете производить самостоятельно, – продолжал Газарян, – но в нашем присутствии, и, если у нас возникнут какие-то вопросы, будете давать объяснения, при надобности – письменные.

– Совершенно с вами согласен, товарищ, совершенно согласен.

Возвращаясь из Гохрана, Пожамчи и Шелехес обменялись впечатлениями:

– По-моему, ничего страшного не произошло, – раздумчиво говорил Шелехес, – и счастье, что на бриллианты поставили бабу. Методика проста: она интеллигентна – следовательно, доверчива. Она партийка – следовательно, беспочвенные подозрения будут ею отвергаться: по их морали – я это вывел из общения с братцами – нет ничего обидней беспочвенных подозрений. Она близорука – следовательно, уследить за пальцевыми манипуляциями, – Шелехес усмехнулся, – не сможет, даже если бы ей приказали следить за нами во все глаза, вы уж мне поверьте...

– Да я уж верю, – улыбнулся Пожамчи, хотя Шелехесу он не верил. Он сделал для себя вывод, что теперь, когда к ним посадили контролеров, все покатится под гору: первый контроль предполагает последующий, и чем дальше, тем наверняка жестче он будет осуществляться. И Пожамчи решил при первом же удобном случае бежать. Случай подвернулся неожиданно-негаданно. Наркомфин Крестинский поручил ему поехать в Ревель, к Литвинову, с бриллиантами. И надо же ему было встретить Воронцова на границе!

Однако по прошествии месяца после прихода контролеров РКИ в Гохран обстановка там стала лучше и чище – исчез дух взаимной подозрительности.

Альский попросил Козловскую и Газаряна написать свои заключения о проделанной работе и о том, как «прижились» в системе Гохрана те контролеры, которые туда были направлены. Оба старших инспектора представили Альскому докладные, в которых категорически утверждали, что все налажено, работа идет нормально, организовано дело надежно и никаких хищений нет, да и быть не может.

Эти докладные со своим сопроводительным письмом Альский отправил Фотиевой – для Ленина. Не верить сообщениям сталинских инспекторов РКИ не было никаких оснований, и поэтому в картотеке Секретариата СНК карточка Гохрана была вынута из отделения «Особо срочных».

## Пути-дороги...

С отцом Всеволод простился на вокзале. На людях они совестились обниматься и поэтому стояли близко-близко; и рука отца была в холодных руках Всеволода, и он то больно сжимал ее, то нежно гладил, и было горько ему ощущать, как она суха и худа – эта отцовская рука, и как слаба она и беззащитна.

– Ты вернешься, папочка, и я к тому времени буду дома, – тихо говорил Всеволод, – и мы с тобой вместе уедем куда-нибудь в деревню, и там проживем вместе – только ты и я, и никого больше, да?

– Да, – так же тихо отвечал Владимир Александрович, – как раньше, Севушка.

– Гулять будем по лесу и на сеновале спать...

– А я буду мурашей разглядывать. Мечтаю долго и близко смотреть на мураша в лесу – ничего больше не хочу...

Паровоз загудел, вагоны, перелязгивая ржавыми буферами, резко дернулись, быстро взяли с места, потом ход свой замедлили, и отец, стоявший на площадке, успел пошутить:

– Видишь, у нас даже вагоны должны утрясать вопросы с паровозом. Сплошные соглашения и утверждения...

Всеволод долго шел за вагоном – до тех пор, пока мог видеть лицо отца.

Бокий ждал Всеволода в комнате Транспортной ЧК Балтийской дороги: поезд Всеволода уходил через полчаса.

Владимиров должен был добраться до Петрограда, а там Севзап ЧК обеспечивала его «окном» на границе.

– Сева, – негромко, во второй раз уже, повторял Бокий. – Пожалуйста, будь очень осторожен. Блеск твой хорош дома, там будь незаметен. Характер у тебя отцовский – ты немедленно лезешь в любую драку. Запомни: ничего, кроме проверки данных Стопанского. Я не очень-то верю, что кто-то из наших дипломатов может работать на Антанту. Скорее всего, поляк имел в виду кого-то из шоферов, секретарей – словом, тех, кто просто-напросто служит в здании. Рекомендательные письма в Ревель тебе передадут на границе. Там же тебе дадут записную книжку. Отбросив первую цифру и отняв от последней «2», ты получишь номер телефона нашего резидента Романа.

– Ясно.

– Теперь вот что, – Бокий передал Всеволоду пачку папирос, – здесь, во второй прокладке, фото наших людей, которые бывали в Ревеле. Других не было. Пусть посмотрят наши друзья, кто из этих семи человек встречался с Воронцовым в «Золотой кроне» – это важно; соображений у наших товарищей много, а фактов, увы, нет...

– Это показать Роману?

– Да. Он знает, через кого все это перепроверить вполне надежно, он тебя сведет с друзьями...

– В случае, если завяжется интересная комбинация, ждать указаний от вас или вы положитесь на меня?

– Мы привыкли полагаться на тебя, но не лезь в петлю.

– Ни в коем случае... – улыбнулся Всеволод. – Я страдал горлом с детства...

К вагону Бокий провожать Всеволода не стал: не надо провожать Максима Максимовича Исаева члену коллегии ВЧК Бокию. Ведь Максим Максимович Исаев не с пустыми руками едет в Ревель, а как член кадетского подполья: стоит ли вместе показываться чекисту и контрреволюционеру? Никак этого делать не стоит – так считали оба они, потому и попрощались в маленькой комнате, где окна были плотно зашторены.

Сначала, как только Никандрова втокнули в камеру серыми, тщательно покрашенными масляной краской стенами, низким потолком и маленьким оконцем, забранном частой решеткой, он начал буянить и молотить кулаками в дверь, обитую листовым светлым железом. В голове еще мелькнуло: «Как в гастрономии, где разделяют туши».

– Палачи! – истошно кричал Никандров. – Опричники! Собаки! Чекистские наймиты!

Хмель еще из него не вышел. Под утро, прощаясь с Лидой Боссэ и ее липким спутником, которым она явно тяготилась, они заехали на вокзал и там выпили еще по стакану водки, поэтому чувствования Никандрова сейчас были особенно обострены и ранимы. Его и в России тяготило бессилие в столкновении с обстоятельствами; он даже вывел философию, смысл которой заключался в том, что человек – всегда и везде – бессилен перед обстоятельствами, он их подданный и раб. А восстанет – так сомнут и уничтожат. Дома он эту философию выстроил, проживая в мансарде – на свободе, впроголодь, – но издавая время от времени книжки своих эссе; забытый критикой, но окруженный вниманием и заботой почитателей – и паспорт-то он получил от комиссара, который с большой уважительностью говорил о его работах, особенно в области исторических исследований.

В том, что на его крики никто не реагировал, в том, что он ждал совсем другого – звонков издателей, номера в «Савойе», заинтересованных звонков ревельских и аккредитованных здесь европейских журналистов, – во всем этом было нечто такое жестокое и оскорбительное, что превратило Никандрова в животное: он упал на холодный каменный пол и начал кататься, рвать на себе одежду, а потом истерика сменилась обморочной усталостью, и он уснул, голодно вырвав желчью и водкой: ели мало, больше всю ночь пили...

Следователь политической части ревельской полиции Август Францевич Шварцвассер был человек мягкий и сговорчивый. От остальных коллег его отличала лишь одна черта – он был неутомимым выдумщиком и в глубине души мечтал сделаться писателем, автором остро сюжетных романов наподобие Конан Дойла.

Именно к нему и попали бумаги, отобранные при обыске у Никандрова. Установив, что захвачен на квартире у Воронцова литератор, только-только эмигрировавший из Совдепии, Август Францевич было подписал постановление на его немедленное – с обязательным формальным извинением – освобождение, однако, когда филеры передали своему начальнику данные сегодняшней ночи, следователь призадумался и долго сидел на подоконнике, мурлыча мотив из «Цыганского барона». Задуматься было над чем: во-первых, убит Юрла, прошедший весь вечер в обществе эмигрантов и поэтов, один из которых настроен пробольшевицки; во-вторых, Никандров, как выяснилось, был дружен с Воронцовым, который – и это ни для кого не составляло секрета – был лидером боевиков в русской монархической эмиграции; в-третьих, – и это больше всего удивило следователя, – как мог быть столь спокойно выпущен из Совдепии человек, который так дружен с лидером эмиграции. За эмигрантскими лидерами большевики следили особенно тщательно и прекрасно знали не только их родственников, но и всех друзей, а порой и просто знакомых. При этом Август Францевич особо выделил и покойного Юрла, убийством которого пока что занималась криминальная полиция; известный журналист в свое время отбывал каторгу в Якутии за социалистическую, правда несколько национально окрашенную, деятельность; позже, впрочем, отошел от движения. Хотя это не мешало ему оказывать помощь – подчас финансовую, самую что ни на есть серьезную, эстонским леворадикальным оппозиционерам...

Идея, сюжет возникали в голове Августа Францевича неожиданно: словно бы появлялся пейзаж на фотографическом стекле, которое опущено в проявитель. Сначала полная белизна, потом затемнение, а после – поначалу осторожно, а затем все более рельефно вырисовывающийся пейзаж; лица Август Францевич фотографировать не любил, ибо всегда, даже за портретом жены, ему виделся тюремный «фас и профиль» и обязательно – отпечатки пальцев, сделанные жирно и неакkuratно.

Сведя воедино – неторопливо и обстоятельно – все известное ему, Шварцвассер придумал довольно стройную и весьма перспективную версию. Он знал уже о визите русского посла к президенту – об этом в секретной полиции узнавали немедленно; он знал, что Литвинов сообщил президенту точные данные о русской эмиграции, и в частности о Воронцове, которого в Москве считали врагом номер один в ревельских русских кругах; сходилась и то, что Воронцов, Юрла и Никандров, отчего-то отпущенный Москвой с легкостью необыкновенной за границу, провели вместе весь вечер накануне загадочной гибели журналиста. И все это прочно базировалось на предписании главы правительства задержать Воронцова и еще шестерых его наиболее близких товарищей, а потом по прошествии определенного времени, выпустить, предписав тем не менее покинуть в ближайшее же время пределы Эстонской республики.

«Удобная комбинация для ЧК, – воодушевляясь, чувствуя впереди нечто интересное, сложное и запутанное, продолжал рассуждать Август Францевич. – Они внедряют своего человека в самую сердцевину белого движения. Чем Никандров не подходящая для этого фигура? Что ни на есть подходящая. И, если я отберу у него подобного рода признание, тогда можно будет продолжить операцию и заявить Москве протест по поводу засылки своих агентов. Мы тогда сможем и впредь отметать все нападки Кремля по поводу белой эмиграции: вы сами ее плодите, а на нас за это валите вину».

Концепция показалась Августу Францевичу до того интересной, что он не стал перепроверять себя: вдохновение – мать успеха, и попросил конвой немедленно доставить к нему арестованного писателя.

...Никандрова он встретил обворожительной, несколько даже кокетливой улыбкой, приказал подать чаю с лимоном, посетовав при этом:

– Когда мы входили в состав империи, чай был куда как дешевле и лучше качеством. Сейчас, знаете ли, Альбион дерет с нас три шкуры за индийские сорта, а налогоплательщики бранят за это наше бедное правительство.

Никандров, вперившись яростным взглядом в добродушное личико Августа Францевича, взорвался:

– При чем тут чай?! Я спрашиваю – на каком основании я арестован?! У вас что тут, Совдепия или правопорядок?! Это же возмутительно! Литератора российского швыряют без всякого повода в острог! Мировое общественное мнение удивится, узнав об этом!

– А почему, собственно, мировое общественное мнение должно узнать об этом? От кого?

– От меня! Я не бессловесен! Я литерату умею складывать не только в рапорты – я писать умею, писать!

– Ну, что ж... Мне будет в высшей степени интересно читать ваши импровизы. Только на чем станете писать? И чем?

– Да что же это такое?! Господи, во сне я, что ли?! – закричал Никандров. – Что происходит?!

– Если вы будете продолжать истерику, я прикажу вас посадить в карцер, – по-прежнему улыбчиво сказал Шварцвассер.

– Ах ты сволочь розовая! – заревел Никандров. – Большевистская собака! Мало вас в Москве – вы и здесь нас терзаете?!

Не соображая уже, что делает – сказалось нервное напряжение последних месяцев, пока он ждал паспорта, по ночам тоскливо и затаенно отсчитывая минуты и гадая, выйдет или не выйдет, чет-нечет, – Никандров схватил тяжелую чернильницу и швырнул ее в аккуратное, розовое личико маленького человека, сидевшего за столом. Август Францевич едва успел вскинуть руки, и это, вероятно, спасло ему жизнь. Не смягчи он удар – граненое стекло расколо бы ему висок; а так чернильница оглушительно и до зелени жутко ударила его в лоб, кровь смешалась с черной тушью. Шварцвассер пронзительно закричал, Никандров кинулся к нему, желая помочь, испугавшись того, что сделал, и отрезвел до липкой, потной безысходности.

Вбежавшие коллеги и стражники кинулись на Никандрова, повалили его и начали бить, тупо и бессмысленно, поначалу не больно из-за того, что было слишком много народу, но потом, связанного, его уволокли в подвал и там изуродовали так, что он поседел и охрип.

*«Москва. Кедрову.* Передаю краткую запись беседы советника польской миссии Ярослава Ондраховского с посланником Литвы И. Балчунавичасом. По словам Ондраховского, в настоящее время положение Стеф-Стопанского не прочное, поскольку полгода тому назад был назначен новый заместитель шефа второго отдела генштаба бригадный генерал Пшедлецкий. Этот генерал подчеркнуто ставит на первое место в характеристиках незыблемость семейных уз, набожность, трезвость. “Поскольку Стопанский холостяк, жуир, пьяница, который не верит ни в Бога, ни в черта, – продолжал Ондраховский, – то его положение в последнее время стало неустойчивым, хотя разведчик он первоклассный, но нового генерала не волнуют таланты, его волнуют характеристики. Он даже сказал как-то: “Талант нужен в балете, в разведке он либо мешает, либо вредит и всегда настораживает”. Ондраховский считает Стопанского верным сторонником парижской ориентации, хотя в последнее время он несколько раз говорил о том, что русская угроза недооценивается никем на Западе.

*Роман».*

\* \* \*

В Москву Воронцов приехал вечером. Моросил дождь, неожиданно теплый, грибной, с острым запахом прели и горной синеватой чистоты. Воронцову всегда казалось, что горная чистота имеет свой особый запах – только-только выловленной форели. Он испытал это на Кавказе: они с покойным братом поехали осенью шестнадцатого года, когда Виктор Витальевич после ранения лечился на водах в Пятигорске, ловить форель с Корнелием Уваровым, чиновником по особым поручениям при наместнике. Брат и Уваров расположились на траве, много пили, смеялись, а Виктор Витальевич ловил форель: без поплавка, полагаясь только на руку и обостренное, с детства очень резкое зрение. Первая форель оказалась самой крупной. Он подсек ее, рыба прорезала своим трепещущим, алюминиевым, стремительным телом голубоватый воздух ущелья и ударила его по лицу – он не успел подхватить ее растопыренной ладонью. И тогда-то он ощутил этот запах горной, неповторимой чистоты. Запах этот быстролетен, скорее даже моментален: не пройдет и трех минут, как форель потеряет этот аромат ледяного, с голубизною, потока, неба, водопадов...

Беседуя в Ревеле и Париже с господами, которые поддерживали его финансово, Воронцов, естественно, давал понять, что в Москве и Питере у него существует немногочисленное, глубоко законспирированное подполье. Поначалу он говорил так для того, чтобы получить хоть какие-то крохи денег от антантовских скупердьяев на разворачивание работы. Люди они были ушлые, и ему приходилось весьма точно, назубок, затверживать придуманные им адреса людей, явки, пароли, отзывы. Он считал, что это ложь вынужденная, ложь во спасение. Но постепенно чем более доказательно он говорил и писал о своем подполье, тем чаще ловил себя на мысли, что он и сам в это уверовал. Причем особенно отчетливо стиралась грань правды и лжи в разговорах с соплеменниками, которых он хотел поддержать этой сладостной ложью близкой надежды. И эта невольная и постепенная аберрация лжи и правды сыграла с ним дикую шутку: он поехал в Москву, по-настоящему веруя, что там сможет опереться на своих верных людей-боевиков, членов подпольной организации. Ему уже было трудно отделять правду от лжи: начав фантазии о подполье, он, естественно, опирался в своих умопостроениях на тех

людей, которые, по его сведениям, остались в Москве и Петрограде; он был убежден в высокой честности этих друзей; он считал, что на родине они смогут принести ему значительно больше пользы, чем здесь, в этом затхлом болоте мелких склок и крупных подлостей, – в погоне за куском хлеба и сносным кровом: только в России Христа ради подают, здесь, в Европах проклятых, во всем рацио и расчет, холодный расчет, с карандашом и школьными счетами. Правда, когда Воронцов посетовал на этот чудовищный, жестокий и мелочный, как ему казалось, рационализм, великий князь задумчиво ответил:

– Милый Виктор Витальевич, я понимаю вас... Но, может быть, в том-то и трагедия наша, что мы каждому Христа ради подадим, даже лентяю и пьянице, а считать так и не выучились, все на Бога надеялись – вывезет! А? Может быть, это не так уж плохо для государства – уметь считать?.. Пусть за это другие ругают – зато свои хвалить будут...

...На вокзале в Москве было грязно, пол усыпан обрывками бумаг и каким-то странным, тряпичным, ветхим, не вокзальным мусором. Воронцов навсегда запомнил русские вокзалы заплеванными шелухой семечек – в третьем классе, хорошим буфетом – во втором и скучной, стерильной чинностью – в первом.

«Нету семечек, – отметил он для себя и поиздевался сразу же, – из этого я, несомненно, должен сделать вывод, что голодно сейчас тут, как никогда раньше. Мы всегда норовили увидеть жизнь народа через деталь; на общее времени не хватало...»

Извозчиков не было – всех разобрали, потому что Воронцов шел самым последним, приглядываясь и к тем, кто был впереди, а главное, проверяясь, нет ли сзади шпииков ЧК. Багажа с ним не было никакого – бритву, мыло и помазок он сунул в карман пальто и шел сейчас, как заправский москвич, хотя, впрочем, заметил Воронцов, от москвичей его отличало то, что он не имел портфеля. В Ревеле ему казалось, что портфель, наоборот, сразу же выделит его из толпы – мелочь, а на поверку и не мелочь даже совсем. Раньше-то с портфелями ходили одни чиновники, а теперь мужик правит государством: ну как ему не проявить свое глубокое внутреннее детство – как ему не пофорсить с портфелем, если даже и пустой он, и ручка отвернута, и замки проржавевшие не запираются...

Воронцов неторопливо пересек Садовое кольцо и пошел в центр: единственный адрес своего старого друга инженера-путейца Абросимова, который ему случайно удалось узнать, был до боли московским, родным – Петровские линии, дом 2, квартира 6. Воронцов рассчитывал переночевать у Абросимова, а потом с его помощью получить две-три верные квартиры, где бы он мог на первое время обосноваться.

Возле «Эрмитажа» он свернул, остановился. Липы «Эрмитажа», громадные, черные от дождя, словно впечатывались в сумеречное, серое небо. В маленькой церковке тихо и скорбно перезванивали колокола.

Воронцов вдруг остановился, прижался спиной к забору, сплошь заклеенному какими-то дурацкими плакатами и объявлениями, вдохнул всей грудью воздух и замотал головой: «Господи, неужели дома, неужели в Москве я, Господи?!»

И так стало сладостно, как бывало в раннем, таком невозможно-счастливом детстве, когда маменька приходила к нему и он зарывался головой в ее колени, и ее длинные пальцы нежно гладили его ломкую, тоненькую шею, и пахло от маменьки апельсиновым вареньем и горькими духами, и было это так давно, что, возможно, никогда этого и не было.

Абросимов открыл дверь сам. Увидав Воронцова, он в страхе шагнул на площадку – грудью навстречу гостю, словно бы прикрывая вход в квартиру.

– Что? – быстрым шепотом спросил он. – Зачем ты? Один?

Воронцов улыбнулся, тронул его за руку, ответил:

– Позволь мне сначала войти к тебе, Геннадий.

– Нельзя. У меня сослуживцы из наркомата...

– Когда они уйдут?

– Поздно. Мы работаем над проектом.

– Переночевать мне у тебя можно?

– Это опасно... Ах, зачем ты пришел, Виктор, я только начал успокаиваться от прошлого!

Зачем ты пришел?

– Кто и где живет из наших?

– Я никого не вижу! Я, правда, давеча встретил Веру – случайно, на улице... Она живет на Собачьей площадке, в доме пять.

– У тебя сослуживцев нет, – чеканно и брезгливо, как-то сразу потухнув, сказал Воронцов. – Ты просто боишься...

Он медленно спустился по лестнице, все еще ожидая, что Абросимов окликнет его, бросится к нему со слезами и уведет к себе, и он поймет его, потому что страх ломает человека, и в этом нет его вины – вина только в том, что не можешь перебороть страх, когда ты не один уже, а вдвоем... Но никто его не окликнул, и он услышал, как осторожно лязгнул французский замок, а потом прогрохотал тяжелый засов. «В Москве силен бандитизм, – машинально отметил для себя Воронцов, – про это все говорили». И только выйдя на пустынную, темную улицу, он остановился, потому что понял: Абросимов дал ему адрес его жены. Веры – единственной женщины, которую он любил и которая была его мукой и счастьем; все те, другие, с кем сводила шальная, стремительная и жестокая жизнь, проходили мимо – он их не помнил.

И сейчас, по прошествии лет, после того как они расстались, он не мог отдать себе отчета – кто же виноват в этом. Поначалу он, естественно, был убежден в ее вине. После, встречая других женщин, он все чаще и чаще вспоминал ее и, вместо того чтобы от нее отдаляться, мучительно, до острой боли в сердце возвращался к ней. Он полюбил ее сразу, как только увидел на именинах у тетушки Лопухиной в сентябре, в день поразительный, прозрачно-синий, за городом, в сосновом бору в Назарьине, что возле Николиной Горы.

...Вера жила в большой коммунальной квартире. Он увидел полутемный коридор, телефонный аппарат на стене, две громоздкие детские коляски и большую оцинкованную ванночку, повешенную на большой крюк...

– Ну, здравствуй, – сказал он, нелепо хмурясь, потому что не знал, как ему следует вести себя. – Добрый вечер.

– Здравствуй, – ответила Вера, легко улыбнувшись. Она улыбнулась так, будто они расстались только вчера, а не семь лет назад.

Она не вышла, как Абросимов, на площадку, но и не отступила в сторону, приглашая его войти к ней. Она стояла в дверях и смотрела на него со странной усмешливостью.

– У тебя кто-нибудь есть?

– Вопрос поставлен слишком обще, – ответила Вера.

– За тобой я замечал много великолепных недостатков, – сказал Воронцов, – но я не замечал за тобой пошлости.

– Зайди, у меня есть час свободного времени.

– Где дети?

– В деревне. У бабушки, ей оставили флигелек.

Они вошли в ее маленькую комнату. Здесь была та милая Верина неряшливость, которая подчас раздражала его и он говорил ей об этом, не щадя ее, а в отъезде, вспоминая, он видел в этой несколько даже детской неряшливости нечто прелестное, шедшее от игры с куклами – от той игры, которая неистребима в женщине.

– Дети похожи на меня?

Вера кивнула головой на стену: там среди картин висели два фотографических портрета: девочка и мальчик с собакой. Воронцов долго разглядывал лица детей.

- Арина похожа на меня больше, чем Петр.
- Может быть... Я как-то стала забывать твое лицо...

Воронцов обернулся: Вера прибирала со стола шитье. Воронцов похолодел: это были розовые и беленькие распашонки.

- Ты замужем?
- Сейчас это не важно... Говорят – «они сошлись».
- И с кем же ты сошлась?
- Я ведь не спрашиваю, с кем ты сошелся.

– С кем бы я ни был – у меня есть дети. Надеюсь, они помнят, что их отца зовут Виктор Воронцов?

Он говорил сейчас жестко, сухо, казня себя за это, он хотел подойти к Вере, упереться лбом в ее лоб и сказать про то, что он всегда любил ее и очень любит сейчас и больше всего боится, что тот, другой, кто сейчас с ней, может обидеть ее и что она может потом сломаться: она никогда не знала людей, потому что всегда он был впереди, она была за его спиной, но он не мог переступить в себе самом какую-то незримую, холодную черту, которая не пускала его сделать так, как того хотело сердце.

- Выпьешь чаю? – спросила Вера.
- Нет. Спасибо. Дети знают своего нового родителя?
- Нет. Пока что нет.
- Ты счастлива с ним?
- Я чувствую себя с ним человеком...
- Он раскрепостил тебя? – усмехнувшись, спросил Воронцов. – Что, он из «товарищей»?
- Ты не вправе интересоваться этим. Я же никогда не интересовалась твоими подружками...

– Ты просто устраивала сцены ревности.

– Я тебя очень любила, – ответила Вера и невольно взглянула на большие часы, стоявшие на комод.

- Как у тебя с деньгами?
- Ты оставил мне тогда... Я меняла твои камни на хлеб...

Воронцов не выдержал – спросил:

- И кормила на мои камни «товарища»?
- Уж не ревнуешь ли ты меня к нему?

– Я лишен ревности, ты это знаешь, – сказал Воронцов, чувствуя, как сердце его стало зажимать тяжелой, густой и горячей болью, понимая, как глупо он сейчас ей врет, и отдавая себе отчет в том, что она великолепно видит по его вопросам, как он ее ревнует.

– Я это знаю, – ответила Вера и снова чуть усмехнулась этой своей странной, незнакомой Воронцову дотолле улыбкой.

- Ну, прощай, – сказал он, так и не присев.
- Прощай, – ответила Вера. – Может быть, ты голоден?
- Я сыт. Спасибо.

«Вот так, – думал он, стремительно вышагивая по улицам – пустым и темным, – вот так. Вот так. Вот так. – Он не мог отвязаться от этого проклятого «вот так» и поэтому шагал все быстрее и быстрее. – Все кончено... А любил я ее лишь. Одну. Всю жизнь. А сейчас люблю еще больше, чем раньше. И, наверное, во всем том, что случилось, виноват один я, потому что всегда виноват сильный. Но сейчас она оказалась сильнее меня. Почему же тогда, в те годы, что мы были вместе, она была такая слабая? Почему она тогда не была такой? Или она слепо

верила в нашу любовь и ей казалось унижительным быть сильной для того, чтобы охранить ее ото всего – и от меня тоже? Сейчас я вернусь к ней, вдруг понял он, остановившись. – Я пристрелю этого ее “товарища”, который жрал мой хлеб. И уведу ее с собой. Вот так».

А Вера лежала на кровати, уткнувшись головой в жесткую маленькую подушку, и плакала, потому что, увидев Воронцова, она поняла, что всегда, все эти годы ждала лишь его одного, а сейчас должен прийти Андрей – ровный, влюбленный, приветливый – и будет подробно рассказывать ей о прожитом дне, и о том, как виделся со своей дочкой на квартире у дяди Натана, и о том, что сегодня говорили на кафедре после посещения антикварного мебельного магазина; и все это стало сейчас так невыразимо горько Вере, что она, накинув пальто, выбежала на улицу, чтобы найти Воронцова, но никого на улице не было. Шел дождь – теплый, весенний, и пахло промозглой сыростью.

На Арбате, возле ярко освещенного кафе Воронцов остановился. В запотевших, слезливых окнах метались тени лакеев. Слышно было, как кто-то из посетителей затягивал старинную казачью песню, но, видимо, «певец» был безголосым, потому что он немилосердно фальшивил, замолкал, чтобы вскорости начать сызнава.

Воронцов толкнул дверь ногой и вошел в кафе. Пахло жареным мясом, луком и пивом из свежоткупоренных бочек. Возле металлической гофрированной печки было два места за маленьким столиком. Воронцов спросил старика, сосавшего пиво из длинного стакана:

– Вы позволите?

– Позволю, – буркнул тот, – я все готов позволить.

Воронцов притулился к печке спиной, закурил. Он чувствовал, как его знобило, но думал, что это нервное. Если простуда – он должен был бы простудиться там, на границе, когда попал в яму с водой, а потом спал в мокром стоге, но нет – он чувствовал себя все эти дни хорошо, до встречи с Верой.

«Это из-за нее, – подумал он, – просто я переволновался, оттого и знобит. Ничего, сейчас выпью и отойду».

Он долго ждал полового, а потом окликнул пробежавшего мимо человека:

– Пет!

Тот остановился, словно взнузданный, и ответил:

– Я вам не «пет», а гражданин официант!

Воронцов смешался.

– Простите, друг мой, – нашелся он внезапно. – Пошутить нельзя по-старорежимному?

– В другой раз, – примирительно и удовлетворенно, с какой-то долей покровительства, заговорил лакей, вытирая вонючей тряпкой столик, стряхивая при этом крошки на колени Воронцову, – в другой раз надо осмотрительней... Я-то отходчивый, а иной сразу за фалду и в милицию. Чего изволите?

«Все-таки “чего изволю”, – ответил Воронцов и захолодел от гнева, – значит, еще не все потеряно, если “чего изволите”...»

– Водки, стакан пива и кусок мяса, – попросил он.

– Мясо с лучком будем делать?

– С лучком.

– Прожарить или с кровушкой?

– С кровушкой.

– А из закусок?

– Что у вас есть?

– Ветчина есть, окорок давеча подвезли с Угодского Завода... Рассыпчатую картошечку можно предложить с селедочкой...

– Картошечку дайте. Без селедочки.

Лакей присел, словно в книксене, и резво потрусил на кухню.

Старик, что был рядом, хмыкнул, передразнив:

– С кровушкой, селедочку, ветчиночка...

Воронцов ничего не ответил, только осторожно, чуть заметно улыбнулся: он понял, что здесь сейчас ему надо заново изучать «правила хорошего совдеповского тона». Погибнуть на мелочи ему не хотелось – он не имел на это права; игра, которую он задумал, предполагала жизнь, но не смерть.

– Издалека? – продолжал старик.

– Издалека.

– Как там? Тоже полегчало?

– Да... в известной мере...

– Что понимать под «известной мерой»?

Воронцов озлился: «Приказал бы я тебя вышвырнуть прочь в мои-то времена, когда мы Россию бранили и жаждали британского демократизма. Добранились – сиди и отвечай, Виктор Витальевич. Все мы бранили, только Вера никогда ничего не говорила – умней всех нас она, потому что женщина...»

– Хлеба вдоволь? – не унимался старик. – Молоко появилось?

– Есть хлеб, – сухо ответил Воронцов. – Простите, но я очень устал.

– Усталым нечего делать в питейных заведениях – дома надо лежать.

Воронцов не выдержал:

– Тем не менее позвольте мне посидеть молча: я плохой собеседник, когда устаю.

– С чего вам уставать, сударь, – руки-то у вас служивые, чистые. Ваша усталость как раз и требует беседы. Тот кто молотом машет в кузне, тот к печке тащится, чтобы спать... А вы сейчас, прошу извинить, не о постели думаете, а о бабе в оной... И причем не о своей, но о чужой, что помоложе.

– Я велю сейчас вывести вас отсюда.

Старик беззубо, тихо рассмеялся. Облизнув острым, синеньким языком толстые губы, спрятанные под пегими усами и бороденкой, он погрозил пальцем Воронцову и шепнул:

– Ни-ни, барин! Ни-ни...

Воронцов испытал какую-то безразличную, далекую усталость. «Это судьба, – подумал он. – Мне в детстве такие старики снились, перед единицей в гимназии».

– Ну, «барин». Ну, еще что?

– Это хорошо, что вы не стали ерепениться. Меня-то не помните?

– Не помню.

Лакей принес Воронцову водку в графинчике, пива и кусок шипучего мяса, обложенного мелкими желтыми картофелинами.

«Рассыпчатая картошечка, – снова безразлично подумал Воронцов, – врут в глаза и не боятся...»

– А я вас помню, – понизив голос, сказал старик. – Нет, по фамилии не помню; по лику помню: я швейцаром был в Английском клубе. Вы туда приезжали... И с Немировичем приезжали, с народным артистом, и с покойным Мамонтовым...

«И это в первый же день, – отметил Воронцов, разрезая мясо. – Никандров высмеял бы меня за такой сюжет».

– Обознаться не могли?

– Не мог... Водочкой угостите?

– Наливайте.

Старик шумно выпил пиво с водкой и спросил – теперь уже не юродствуя, а деловито, оценивая:

– Девочка не нужна? Хорошие есть девочки – с комнатами, в частных домах, так что лишних людей не будет, да и запоры хороши, если, не ровен час, какая проверка.

– Значит, в ливрее стояли? В услужении у кровопийц?

– Проверяете вы меня ловко... В ливрее ж разве кто стоял в Английском клубе? В сюртуках, только в сюртуках...

– А что ж милицию не зовешь? Награду за меня уплатят...

– У нас за это наград не платят... Третье отделение платило, а тут лишь грамоту на глянце... Значит – не обознался я... У меня глаз цепкий... Вы-то нас никого не помнили, а мы вас всех до одного – как во сне видим...

– Гражданин официант, – попросил Воронцов пробежавшего мимо лакея, – еще два графинчика.

– И пива, – подсказал сосед.

– А вам? – спросил лакей. – Пивка повторим?

– Нет. Мне не повторяйте.

«Может, заснет, – тоскливо подумал Воронцов. – Налить бы побольше, чтобы уснул. Тогда и уйти. Ведь начнет в спину кричать, животное...»

Но старик не уснул. Он поднялся первым и предложил:

– Пошли, мил человек. Я всю жизнь бездомным прожил – бездомного за версту вижу. Москва нынче бездомных не любит и примечает быстро. Пошли.

Он привел Воронцова в маленький домик на Плющихе, прилепившийся к крутому склону горы, спускавшейся к Москве-реке; было в этом домике темно, дверь отворила подслеповатая старуха и сразу же ушла за тонкую фанерную дверь и там – Воронцов слышал это отчетливо – пробормотала:

– Эх-эхе-хе, тяжелы грехи наши тяжкие...

Старик открыл дальнюю – в углу – дверь и подтолкнул Воронцова в спину:

– Я тут, рядышком. Что надо – кликните, я мигом.

Девушка спала на узенькой софе, укрывшись пледом. Воронцов стоял не двигаясь, прислушиваясь к тому, закроет старик входную дверь на засов или уйдет. И лишь когда скрипуче грохнула щеколда, а потом прогрохотал засов, он выдохнул и медленно осмотрелся. Окно было низкое, закрытое ставнями. Воронцов на цыпочках подошел к ставням, осторожно открыл крючок и выглянул на улицу: окно выходило в густой сад. Голые ветви сирени упирались в стекло.

Воронцов вернулся к двери, запер замок, ключ положил в карман; снял казакин, свернул по-походному, положил возле двери и лег на него, как на подушку, хрустко и длинно вытянувшись.

– Между прочим, – чуть хрипловатым голосом сказала проститутка, – червонец обязаны уплатить – так или иначе.

– Сейчас?

– Можно утром.

– Когда кончится мое время?

– У вас что – нет документов?

– Почему... Есть... Я поспорился дома...

– Не врите. Дед таких не приводит.

– Кто он, между прочим, этот ваш дед?

– Покойный грешник в улучшенном издании.

Воронцов сел. С неожиданным интересом посмотрел на девушку: она лежала, по-прежнему отвернувшись к стене.

– Тебя как зовут? – спросил он.

– А вас?

– Меня зовут Дмитрий Юрьевич...

– Значит, Митя... Маленькое имя, – заметила девушка, – вы уж извините, но мне вас по имени-отчеству называть неудобно: тех, кто с тобой спит, надо называть по имени – я пытаюсь камуфлировать распутство чувством...

– Бред какой-то, – пробормотал Воронцов, увидев громадные синие глаза, густые черные волосы, прекрасного овала лицо, – да вы тут что, все – умалишенные?

– Все, все... Вы, мы, я... Водки не принесли?

– Нет.

– Попросите деда. Это дополнительная такса: за отдельную кровать.

Старик принес водку в грязной, зеленоватого цвета бутылке с отколотым горлышком.

– Сала подай, – сказала девушка.

– Сало кончилось, Анна Викторовна.

– Что у тебя еще есть?

– Хлеб.

– Принеси хлеба.

– Может, сбегать поискать чего на Брянский?

– А что ты там найдешь?

Там начали пирожками торговать с ливером.

– Дайте ему денег, Митя, пусть он принесет пирожков.

Воронцов достал из бокового кармана пачку денег и протянул старику червонец.

– Сейчас я обернусь, – сказал дед, – мигом.

Когда старик ушел, Анна Викторовна поднялась с софы; была она высокая, тонкая, сложена великолепно, по-английски.

– Без закуски пьете? – спросила она, подойдя к столу.

– По-всякому пью.

Она разлила водку по стаканам и медленно выпила свой – тяжелыми, слышными глотками.

– Пейте, Митя. Сивуха, правда, но гнали ее из хлеба.

Воронцов отошел к окну, отворил ставни. Пламя керосиновой лампы отражалось в стекле ладонями молящейся Богоматери.

– Кто вы и почему вы здесь? – спросил Воронцов.

– Ну, это неинтересно.

Он подошел к столу, налил себе водки, выпил залпом, близко заглянул ей в лицо. Глаза у нее были громадные и совсем неподвижные, словно у слепой.

– Что, раздеваться? – спросила Анна Викторовна.

Он наклонился к ней, взял за уши и, закрыв глаза, начал искать ее губы.

– Погодите, дайте же раздеться.

– Не надо, – сказал Воронцов и медленно отошел к окну.

Он стоял, повернувшись к стеклу, и видел, как ладони молящейся затрепетали, а потом взлетело что-то большое и белое, и он понял, что женщина постелила простыню. А потом он услышал шуршание ее юбок и тихий скрип софы.

– Только разденьтесь, – сказала она, – я ненавижу, когда в кровати лязгают ремнем.

– Спите, милый, – шепнула Анна Викторовна, – вам надо поспать, я вижу, как вы устали...

Вера, только-только на эти минуты покинувшая его, вдруг снова поплыла в глазах, и стало ему до того вдруг гадостно и плохо, что он подумал: «Надо все это кончить. Винить некого. Себя разве? А толку что?»

Анна Викторовна почувствовала, что он хочет подняться, еще до того, как он откинул плед. Она тесно прижалась к нему, обняла хлысткими руками за плечи.

– Побудь рядом, – шепнула она, – еще немного побудь рядом... Что тебе? Папиросу? Я принесу. Лежи.

– Спасибо. Я возьму сам...

– Лежи, – повторила она еще тише и, закрыв глаза, стала целовать его плечи, грудь, шею. – Сейчас я принесу тебе папирос и налью водки. Ты сейчас хочешь выпить водки, да?

– Да.

Она поднялась, улыбнулась ему:

– Можно я подниму твой казакин? Мне холодно... Я его накинута...

– Пожалуйста... Только он грязный...

Анна Викторовна подняла с полу его казакин, накинута на свои острые красивые плечи, загнула рукава.

– Тебе зажечь спичку?

– Спасибо. Я сам.

Она протянула ему пачку папирос. Медленно размяв папиросу, он закурил. Когда он начал обшаривать глазами, куда бросить сгоревшую до половины спичку, глаза его натолкнулись на матовую дырку пистолета: Анна Викторовна стояла у него над головой и целила в лоб.

– Положи это, – попросил он, – он настоящий.

– Я знаю, – ответила она. – Если вы двинитесь, я продырявлю вам лоб. Он у вас без морщин, красивый. Камни где? Золото?

«Домик стоит на отшибе, рядом река и вокзал – паровозы гудят – никто ведь и не услышит ничего. Ну и ладно, может, к добру это. А патрона в патроннике нет, я ж его на всякий случай в ствол не загонял...»

Он поднялся, Анна Викторовна отскочила в угол и нажала курок. Жестко лязгнула сталь. Он прыгнул к ней и ударил сцепленными ладонями по голове, прямо по темени. Склонившись над женщиной, он взял из ее рук пистолет, загнал патрон в ствол и поднялся. Замер, потому что услышал в коридоре тихие шаги нескольких человек. Прижался к маленькому шкафчику, успев подумать, как это нелепо и смешно со стороны: голый граф Воронцов с пистолетом в руке в конуре у проститутки, которая работает на банду. Угол шкафа скрывал его. Он вжался еще теснее, и в это время пламя лампочки затрепетало. Дверь бесшумно отворилась, и он увидел высокого парня с дегенеративным, слюнявым лицом. В руке он держал топор, а за ним Воронцов успел увидеть глаза старика и кого-то еще, третьего. Не раздумывая, он выстрелил три раза. Дитина упал молча, старик тоже – видимо, пуля легко прошла через фанерную стенку, а третий, невидимый Воронцову, тяжело упав, грязно заматерился.

– Тихо! – прикрикнул Воронцов. – Будешь выть – добыю. Пистолет брось в дверь.

– Да нету у меня пистолета!

– Что у тебя есть, – повторил Воронцов, – кидай в дверь.

К ногам Анны Викторовны упала финка – лезвие было очень длинное, таким егеря свежевали лосей: Воронцов даже ощутил запах сосны, которым отдавало, когда егеря отбрасывали собакам теплый ливер.

Подняв нож, он вышел в коридор. Раненый смотрел на него мутными, круглыми глазами, прижимая ладонью печень. Воронцов подошел к входной двери, заложив засов, посмотрел в каморку старухи. Та спала, громко храпя: со стоном и долгими замираниями, Воронцов боялся, когда так храпели, – кучер пугал его в детстве.

– Ползи в комнату, – сказал Воронцов раненому, но тот отвалился на локоть. В уголке рта у него появилась кровь.

Воронцов вернулся в комнату; Анна Викторовна по-прежнему сидела, прижавшись к стене.

- Болит голова? – спросил он, одеваясь.
- Вежливы вы...
- Это лучшая форма лицемерия – вежливость-то...
- Пристрелите?
- А что мне остается делать?
- А его?
- Он и так умрет.
- Только в спину не стреляйте.
- Я в спину никому еще не стрелял, даже шлюхам.

Анна Викторовна оделась.

- Перед смертью хочу сказать, что вы были великолепны.
- Когда? В кровати или позже?

– Все время. Я никогда не вру, – нахмурилась она, увидев усмешку Воронцова. – Никогда. И поэтому я хочу вам помочь. Отодвиньте софу. Не бойтесь, у меня нет оружия.

- Почему вы решили, что я боюсь?
- Потому что вам надо стать ко мне спиной...

Воронцов отодвинул софу. Там был люк подпола, задраенный по-морски, накрепко.

– Поднимите люк, там каменный подвал, о нем никто не знает. А в подвале – ход: мы туда утаскивали всех – чтобы не было улик. Вам разумнее убить меня там. Выстрела не слышно.

- Выпить хотите? – спросил Воронцов, устало опускаясь на стул. – Тогда наливайте.
- Господи, – прошептала она вдруг, – Господи, почему вас Бог так поздно послал?
- Где деньги и ценности?

Анна Викторовна сильным движением – тренированно-гимнастически – поставила софу «на попа», отвернула две ножки. В одной были трубочкой спрятаны деньги, а вторую ножку она тихонько развела на две половинки, и на стол посыпались бриллианты.

- Откуда? – спросил Воронцов.
- Фаддейка бил тех, кого мне дед приводил.

– Один работал? – быстро спросил Воронцов: он понял, что сейчас случай, дикий случай – если она ответит, что он работал в паре, он получит человека, нужного ему сейчас, как никто другой.

- С братом.
- Где брат?
- В Посаде... Запой у него. Олег – божий человек.

– На, дорежь, чтоб не мучился, – сказал Воронцов, протягивая ей финку.

Анна Викторовна взяла финку и пошла в коридор. Воронцов пошел за ней следом. Фаддейка еще дышал.

- Куда бить?
- Куда хочешь – можешь в шею.

Она ударила Фаддейку в шею и – Воронцов следил за этим – не зажмурилась, только скулы зацепенели.

Через полчаса они сбросили тела в подпол и ушли вместе. Ночь провели на Брянском вокзале: он спал у нее на коленях, а она сидела, все время улыбаясь, и гладила его лицо, и глаза ее не были прежними, усталыми, неподвижными: они жили...

Под утро Анна Викторовна разбудила Воронцова:

– Олег, Фаддейкин брат, знает про наш подвал. Я сейчас вернусь – вы смотрите на Москву-реку, все поймете.

Через полчаса на другом берегу вспыхнул пожар: Анна Викторовна подожгла дом, облив его керосином с трех сторон. Сухое дерево вспыхнуло ярко и желто в зыбких рассветных сумерках.

## Человек и закон

Председатель Московского ревтрибунала Тернопольченко<sup>21</sup> был человек одинокий, замкнутый и нелюдимый. На собраниях он выступать не любил, процессы вел хмуро, непреклонно, впрочем, порой принимал неожиданные решения: оправдывал людей, казалось бы, обреченных, и, наоборот, брал под стражу в зале трибунального заседания свидетелей по делу – на первый взгляд ни в чем не повинных. Когда его как-то спросил об этом правозащитник Муравьев, председатель ответил в обычной своей медлительной манере:

– Я в решениях нетороплив, но сугубо надежен. Вы вправе опротестовать мое решение, если опровергните вот эти строчки на страницах дела, – и он протянул Муравьеву три толстых тома с закладками. – Извольте ознакомиться.

Как-то прокурор Крыленко<sup>22</sup> сказал о нем:

– Чертовски талантливый юрист, но бесконечно чувствительный – он терзается, когда выносит приговор.

Лишь Крыленко знал по временам подполья, что Тернопольченко, тогда студент Киевского университета, эсдек, проданный охранке своим ближайшим другом, стрелялся в ссылке и его чудом выходили: один из ссыльных, эсер Гойхберг, был медик, он и спас его.

Через десять лет дело Никодимова, Рогалина и Гойхберга попало к Тернопольченко. Он запросил себе отвод, но Карклин ему в этом отказал. Перед началом заседания трибунала Тернопольченко, откашлявшись, спросил у подсудимых:

– Есть ли у кого отводы к составу трибунала?

Отводов ни у кого не было. Гойхберг только все время смотрел на Тернопольченко, и губы его кривила горькая усмешка.

– В таком случае, – сказал Тернопольченко, – я должен дать тебе самоотвод, поскольку Гойхбергу обязан жизнью, а по материалам дела этот подсудимый заслуживает расстрела.

Когда Гойхбергу вынесли приговор – десять лет тюремного заключения, – Тернопольченко пошел на базар, продал свои часы, купил на эти деньги сапоги и сала, пришел в тюрьму – в день официально разрешенных свиданий – и передал все это Гойхбергу.

– Спасибо тебе, Нестор, – сказал Гойхберг, – я знаю, что жизнью тебе обязан, не то что сапогами.

– Если бы я судил тебя, Рувим, – ответил Тернопольченко, – я бы приговорил тебя к расстрелу...

– Ты это говоришь с полной мерой ответственности?

– С наиполнейшей.

– Но это же страшно, Нестор.

– Может быть. Но это правда.

Через месяц после этого он получил телеграмму с Полтавщины от отца: «Мать и сестры умирают с голоду. Помогите чем можешь»; Тернопольченко пошел к наркому Курскому.

– Дмитрий Иванович, я понимаю, что обращаюсь к вам с просьбой противозаконной, но больше мне обратиться не к кому. Вот, – он положил на стол наркома телеграмму. – Может, мне два оклада бы выдали наперед?

– Я думаю, это возможный путь, – ответил Курский – А как же вы сами продержитесь?

Тернопольченко усмехнулся:

---

<sup>21</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

<sup>22</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

– У меня есть метод. Мы, когда жили в ссылке, коммуны организовали. Купили картошки и разложили ее на тридцать кучек, по пяти штук на день. Сала купили – из расчета добавлять по куску в жарку, чаю и по шесть сухарей. А на остальные деньги литературу выписывали.

Он отправил в деревню две свои зарплаты. Отец ответил: «Купил на твои деньги два фунта свинины, десяток яиц и полпуда картофеля, может, до лета не умрем. И на том родительское спасибо, оплатил за нашу любовь и ласку. В обиде на тебя не пребываем, хоть и знаем твой пост».

Письмецо это, свернутое в треугольник – клея у отца не было, – пролежало три дня в секретариате трибунала: почерк у старика был неразборчивый. А когда, промусолив насквозь письмо, поняли, что это пишет отец Тернопольченко, по трибуналу пошли разговоры, и смотрели на него люди с высокой почтительностью и жалостью, а некоторые с жестоким недоумением. Пробежав письмо, Тернопольченко сунул его в карман гимнастерки, словно бы забыл о нем, но вечером заглянул к экспертам:

– Кто выручит стаканом спирта? Деньги отдам через три месяца.

Эксперт Мануйлов<sup>23</sup> налил ему стакан.

– Как ты думаешь, Мануйлов, когда у человека начинается старость? – спросил Тернопольченко, выпив.

– Я думаю, первые признаки проявляются годам к сорока...

– Неверно говоришь, товарищ Мануйлов. Стареть мы все начинаем с первым криком, в миг рождения. Важно определить момент, когда процесс этот наиболее интенсивен... Я, сколько себя в детстве помнил, всегда о смерти думал – очень помереть боялся. Помню отчетливо, знаешь ли, летний жаркий день, стрекозы летают по лугу... А луг рыжий, выгорел под солнцем. И кузнечики еще там были с синими крыльшками... И так стало мне вдруг страшно, что умру и темно будет и никогда больше кузнечиков этих самых не увижу, что заплакал я – вроде бы, знаешь ли, даже истерика у меня тогда была. Найти бы этот проклятый период, когда человек обрушивается в старость... Мне кажется, знаешь ли, что в старости человек уж больше не стареет: он после какого-то времени консервируется и таким умирает... Чем больше мы страшимся постареть, тем стремительнее стареем, Мануйлов.

Вот к этому человеку, Нестору Тернопольченко, и пришел в одиннадцать часов вечера странный посетитель.

– Добрый вечер, я к вам с разговором.

– Кто вы?

– Позвольте мне пока что себя не называть...

– Я не могу говорить с человеком, не зная его фамилии.

– Моя фамилия Сорокин, я работаю в военведе. Дело, с которым я пришел, необычное, поверьте мне, – иначе я бы и не посмел, товарищ Тернопольченко, к вам обратиться.

– Слушаю вас...

– Товарищ Тернопольченко. Тут арестован МЧК паренек, Белов Григорий... Он мне не сват и не брат, просто парню только-только сравнялось двадцать... Работал он в Гохране и совершил хищение – взял там часы какие-то, браслетки, не зная их ценности, не понимая, как это жестоко по отношению к нашей республике... Я помню ваше дело по обвинению работников Главтопа: вы приговорили их к расстрелу, но сами же обратились во ВЦИК с ходатайством о помиловании – в силу того что преступление совершено неосознанно, а двое обвиняемых по делу тоже были совсем молодые люди.

– Ну и чего же вы хотите от меня?

– Если вы спасете жизнь Белову, тогда его родные передадут вам двадцать миллионов рублей. Я могу от их лица гарантировать тайну: про это будут знать только вы и я.

---

<sup>23</sup> Расстрелян в 1937 г. – Ю. С.

- Почему вы решились обратиться с таким предложением?
- Я помню дело Главтопа... Ваш самоотвод с эсерами... Так может поступать только честный и добрый человек...
- Честный и добрый человек, – задумчиво повторил Тернопольченко. – А деньги будут давать по частям или сразу?
- Вам я готов передать деньги до суда.
- Кто ваш начальник?
- А что?
- Мне тоже надо о вас выяснить кое-что... Я ж не могу верить вам – за ясные глаза и лестные предложения. Вы у кого в военведе работаете?
- У Лихарева.
- У Игната Лихарева?
- Нет, у Василия Егоровича...
- Как он поживает?
- Спасибо, хорошо...
- Ну, ладно, – поморщился Тернопольченко, – хватит тут разыгрывать водевили. Есть оружие – кладите на стол, я вас арестовываю.
- Не шантажируйте меня, – быстро сказал Сорокин и поднялся.
- Сядьте. Напротив в квартире живет зампред МЧК Лосев – я его крикну, если решитесь бежать.
- Сорокин достал пистолет и навел его на Тернопольченко:
- Я выстрелю, коли вы не позволите мне уйти.
- Уйти я вам не позволю, а выстрелить в меня, знаете ли, не так уж трудно. Но бежать отсюда вы не сможете, тут дом странный: говоришь негромко – все звуки резонируют. Видимо, архитектор был с музыкальным бзиком. Давайте, давайте оружие, – повторил Тернопольченко и, поднявшись с табурета, пошел на Сорокина.
- Отойдите! Я сейчас нажму курок!..
- Да бросьте вы, знаете ли, – поморщился Тернопольченко и сильно рванул на себя пистолет, опустив его предварительно дулом вниз. Вынул обойму, бросил ее на стол и, повернувшись к Сорокину спиной, сел к телефону.
- Мессинга мне, – сказал он в трубку. – Нет? Ладно, тогда присылайте пару ваших, я вам передам арестованного.
- Тернопольченко обернулся к Сорокину:
- Ваша должность? Только не лгите: Лихарев, у которого вы якобы работаете в военведе, уже пять месяцев как в Туркестане.
- Я – секретарь ревтрибунала Балтийской железной дороги.
- Кто председатель?
- Прохоров, Павел Константинович...
- Вы юрист или по назначению?
- По назначению...
- Законы о взяточничестве знаете?
- Зачем вы конвой вызвали? Неужто нельзя просто отказать?
- Зло прощать нельзя, Сорокин. Можно прощать слепой случай, глупую неосторожность. Зло – продуманное, грязное, чужое – прощать нельзя. Иначе революцию предадим.

«Я, Сорокин Валерий Николаевич, по существу поставленных мне вопросов могу показать следующее: в течение недели ко мне на работу звонила неизвестная, умолявшая о встрече. Сначала я отказывался от общения с ней, однако потом, решив, что такой отказ бессердечен, согласился увидаться. Ею оказалась молодая женщина, которая плача рассказала мне об аресте

ее любимого, молодого человека Белова Григория, работника Гохрана. Она умоляла спасти жизнь ее возлюбленному и сказала, что, если я смогу поговорить с председателем трибунала Тернопольченко, она и отец арестованного пойдут на любые траты, чтобы отблагодарить за спасение жизни жениха и единственного сына. Я от неизвестных никаких денег не получал и к Тернопольченко пошел, движимый единственно чувством человеколюбия, о чем сейчас сожалею и проклинаю свою минутную слабость. С молодой женщиной, имени которой не знаю, я встречался возле кино “Арс” два раза. Адрес ее мне неизвестен. Записал собственноручно. Сорокин».

Мессинг подчеркнул красным карандашом строчку «движимый единственно чувством человеколюбия, о чем сейчас сожалею», посмотрел на Сорокина, сидевшего перед ним на стуле, и прочитал:

– «...чело­ве­ко­лю­бия, о чем сей­час со­жа­лею...» Как у вас могла рука подобное написать, а?! Значит, когда вы подписывали смертные приговоры контре, спекулянтам и взяточникам, вы были злодеем, а вот решили быть человеколюбцем – и попались! Так, что ли?!

– Дайте пистолет, товарищ Мессинг. Позвольте мне достойно уйти. Нет сил терпеть все это, сил нет...

– Ах, вот даже как?! Пистолет дать?! Может, саблю для харакири? Скажи на милость – напакостил, и пистолет ему подавай, руки на себя наложить хочет!

Мессинг еще раз перечитал показания Сорокина, аккуратно сложил листки бумаги и сунул их в папку.

– Больше ничего не припоминаешь?

– Написал бы.

– Ах, Сорокин, Сорокин... Дурашка... Придумал бабу беловскую. Нет у него никакой невесты, он по шлюхам таскался, Белов-то... Очную ставку сейчас с ним получишь: он тебе выложит про невесту, Сорокин, глаза б мои на твою поганую морду не смотрели...

– Не мог этого Белов показывать, не мог, товарищ Мессинг!

Мессинг позвонил по внутреннему телефону и попросил:

– Приведите ко мне Белова.

– Какой смысл в очной ставке? – вздохнул Сорокин. – Я его и в глаза-то ни разу не видел.

Они закурили. Мессинг молча разглядывал Сорокина, его красивое сильное лицо с высоким лбом и хрящеватым носом. Сорокин смотрел себе под ноги и курил не затягиваясь, только набирая понемногу дыму в рот; щеки его при этом надувались, и казалось, что он собирается пускать мыльные пузыри.

– Дети есть?

– Да.

– Много?

– Один.

– Сколько ему?

– Два годика.

– Жена работает?

– Да.

– Где?

– На вокзале.

– Что делает?

– Кассир.

Конвоир ввел Белова и спросил:

– Товарищ Мессинг, мне выйти или присутствовать?

– Выйдите... Садитесь, Белов. Этого человека вы знаете?

– Нет.

– Ладно. Теперь вот что... Как звали вашу невесту?

– Я уже показывал, гражданин Мессинг, что невесты у меня нет. На кой они, невесты, в наше-то время? Они теперь сразу норовят ребенка на шею навесить.

Белов истосковался в одиночке без человеческой речи, и поэтому сейчас им владело желание слушать, смеяться, отвечать, задавать вопросы – только б не гнетущее постоянное молчание.

– Мне один говорил, – продолжал он, торопясь и сглатывая гласные, опасаясь, что его перебьют, – что в семейной жизни надо обязательно иметь парочку подруг помимо жены: тогда на свою больше тянет. А разве жена это поймет? Теперь для них свобода – как что, так сразу по мордам, а управу разве сыщешь?

– Хватит, Белов, – поморщился Мессинг.

– Так мне ж это взрослые говорили!

– Стоп, – перебил его Сорокин, – погоди, Белов. Тебе фамилия Прохоров что-нибудь говорит?

– Нет. Ничего не говорит...

– Никогда такой фамилии не слышал?

Мессинг напрягся – он видел, как что-то сломалось в лице Сорокина после откровений Белова. Лицо его сейчас изменилось до неузнаваемости – заострилось, нос стал еще длиннее, и явственно обозначились впадины возле висков, как у стариков.

– Прохоров? У нас в деревне был Прохоров. Дядя Костя, часовых дел мастер.

Сорокин откинулся на спинку стула:

– Пусть его уводят, товарищ Мессинг. Я буду давать показания. Пусть только его уведут.

«Председатель трибунала Балтийской дороги, мой прямой начальник Павел Константинович Прохоров, неделю назад сказал, что арестован Григорий Белов, работник Гохрана. Он сказал, что друзья беловского отца – заведующий обувным отделом магазина Шмельников и его сотрудница, девица Клейменова двадцати одного года, судя по всему легкого поведения, – предложили сорок миллионов за жизнь Белова Григория. Прохоров попросил меня обратиться к Тернопольченко, испытывавшему материальные трудности, с предложением не выносить Белову расстрел, а дать принудительные работы любого срока. За что Прохоров предложил мне назвать Тернопольченко сумму в двадцать миллионов рублей. “Остальные деньги, – сказал он, – разделим поровну: десять мне, десять тебе”. После этого я отправился к Тернопольченко, движимый корыстью и подлостью, и там был товарищем Тернопольченко арестован, и не нашел в своей черной душе сил покончить с собой там же, не обрекая на позор честное имя жены и сына. Готов помогать следствию во всем, не упоая ни на какое снисхождение. Сорокин».

Мессинг два раза перечитал это показание, написанное Сорокиным здесь же, в кабинете, и, подвинув ему телефон, сказал:

– Сейчас позвонишь к Прохорову и скажешь, что захворал и поэтому не вышел на работу. Телефон помнишь?

– У нас один.

– Сорокин, больше ничего не осталось за тобой?

Сорокин отрицательно покачал головой.

– Сможешь позвонить к Прохорову или передохнешь?

– Смогу.

– Звони, – сказал Мессинг и поднял трубку параллельного аппарата.

– Константиныч, – сказал Сорокин простуженным голосом, – я тут прихворнул, сегодня не выйду...

– А что с тобой?

– Горло прихватило, температура...

– Я к тебе заезжал – тебя не было...

Мессинг метнулся взглядом к Сорокину. Тот чуть прикрыл веки: мол, все в порядке, не волнуйтесь.

– Так я у Розы...

– У какой?

– Из потребсоюза.

– Как позвонить к тебе?

Мессинг прикрыл трубку ладонью и прошептал:

– 2–54–4. Телефон соседей...

– Это у соседей, – повторил Сорокин. – 2–54–4...

– Ага, спасибо... Теперь это... Ты был?

– Был.

– Фу, слава тебе, Господи... Я уж тут извелся...

– Все в порядке...

– Да что ты говоришь?! Ну, поздравляю, Сорокин, от всего сердца поздравляю! Может, мне подъехать сейчас к тебе?

Мессинг быстро замотал головой.

– Сейчас не стоит, – ответил Сорокин, – я тут тайком, – добавил он, понизив голос. – Завтра...

Мессинг снова шепнул:

– Спросите, когда он может привезти деньги...

– В какое время? Когда тебе удобнее, чтобы я завернул?

– Что? – не понял Сорокин прохоровского вопроса, потому что напряженно смотрел на губы Мессинга.

– Я говорю – когда завтра к тебе подъехать?

– Вечером, часам к семи, и деньги захвати – двадцать миллионов...

– Ты с ума сошел, по телефону! – понизив голос, сказал Прохоров. – В своем уме или от счастья сдвинул? Адрес давай...

– Мерзляковский, – прошептал Мессинг, – дом четыре, квартира семь, три звонка.

– Мерзляковский, четыре, квартира семь, три звонка.

– Ну, я подъеду...

Мессинг снова шепнул:

– Не раньше семи. И с товаром...

– К семи, – повторил Сорокин. – И с товаром...

– Понял, – ответил Прохоров. – До завтра.

Мессинг рывком поднялся со стула, вызвал помощников и сказал им – при Сорокине, – словно забыв о нем:

– Поднимите людей по тревоге! Выделить опергруппу для наблюдения за предтрибунала Балтийской дороги Прохоровым. Ух, сволочь, ух, трибун! Потапов, сиди с Сорокиным, Чайкин, срочно Галю Шевкун<sup>24</sup> – на Мерзляковский, в соседнюю комнату – Будникова.

«В 13.26 Прохоров вышел из трибунала и, взяв извозчика, поехал на Страстной бульвар. Возле дома номер 2 он извозчика отпустил и пешком пошел по бульвару. Он сел на скамейку рядом с молодой женщиной и провел рядом с ней несколько минут, при этом держа ее за руку. Это не был условный знак, потому что он руку женщины гладил и пытался ее обнять, но она ему в этом отказала и ушла. Мы с Кирюшиным разделили наблюдаемых, я повел Прохорова вместе с Ивановой, а Кирюшин и Гольцев направились следом за женщиной, которой оказалась сотрудница обувной секции магазина № 61 Клейменова Клавдия Ивановна. Прохоров вернулся

---

<sup>24</sup> Расстреляна в 1936 г. – Ю. С.

в трибунал и больше оттуда не выходил. Прежде чем вернуться в отдел, я принял решение взять под наблюдение Клейменову и всех тех, с кем она будет входить в контакт. Такое указание я отдал Кирюшину перед тем, как мы разделились. Когда я, оставив пост около трибунала, поехал в магазин, Клейменова была в служебном помещении. Кирюшин, проявив сообразительность и революционную смекалку, двинул следом за ней, говоря, что он ищет ихнее начальство, не говоря, какое именно. Клейменова находилась в комнате заведующего обувным отделом Шмелькова, который, когда Кирюшин просил сказать, когда выбросят ботинки, его прогнал, сказав, что занят, и дверь за собой запер. Я вызвал еще наших сотрудников и верно поступил, потому что Клейменова пошла на Мерзляковский переулок, дом четыре, квартира семь, и там в дверях говорила с женщиной по имени “Роза”, спрашивая ее, не она ли “Роза Тихонова, золовка дяди Коли Тихонова”, на что “Роза” ответила, что “нет, я не золовка и никакого Тихонова не знаю”, а потом крикнула в коридор: “Сорока, сними чай с плитки!” Тогда Клейменова извинилась и ушла и долго ходила по городу, останавливаясь около витрин парфюмерных магазинов, а потом вошла в дом на Поварской, 26, квартира 7, где проживает некто Газарян Иван Иванович, которого дома не было, и Клейменова отпустила в почтовый ящик записку. Записку я извлек и переписал: “Дяде Грише стало лучше, зайдите сегодня вечером к доктору с новым лекарством”».

«В 17.50 Шмельков вышел из магазина и отправился пешком на Театральную площадь. Там он зашел в столовую Второго дома Советов в бывшем “Метрополе”, получил по талону обед, а после долго прогуливался по улицам, изредка смотря на свои часы – серебряные, неправильной формы. Ни с кем не беседовал, в подъезды не прятался и не оглядывался в целях проверки. В 19 часов он вошел в дом 6 на Дмитровке, в квартиру гр. Кропотова».

«В 18.35 Газарян, зайдя домой, взял письмо из почтового ящика и, пробыв в квартире не более пяти минут, отправился пешком на Дмитровку, в дом 6, к некоему Кропотову Николаю Капитоновичу».

Мессинг отложил в сторону эти только что полученные донесения своих сотрудников. Он долго сидел, тупо уставившись в список телефонов, положенных под стекло на его большом столе. Перед его глазами стояло лицо Газаряна: он беседовал с ним примерно месяц назад о том, в какой мере налаживается работа в Главном хранилище ценностей республики.

«Что же это такое, – горько думал Мессинг, – что же творится?! Кому тогда верить, если не Газаряну, который требовал смерти всем, кто грабит республику? Если он был врагом, перед тем как пришел к нам, если он маскировался – это плохо, но это еще полбеды, а если он стал таким, получив возможность воровать золото? Неужели в золоте действительно заложена какая-то магическая, страшная сила? Неужто люди перед ней бессильны?»

Сорокин за этот день сдал в лице; но глаза его сияли сейчас и щеки горели нервным, синеватым румянцем. Мессинг заметил, что румянец казался неестественно ярким из-за того, что мелкие сосуды на щеках Сорокина были багровыми.

- У тебя как с давлением? – спросил Мессинг.
- Нормально, – ответил тот. – Ну что?
- Ничего...
- Я ничем больше помочь не могу?
- Я тебя для этого и вызвал. Не спал еще?
- Какое там спал...
- Это зря. Без сна замучаешься.
- Когда мы всех их возьмем – тогда выплещу.

Мессинг отметил, как Сорокин сказал – «мы их возьмем».

– Слушай, Сорокин... Ты не думай, что если ты нам помогаешь, то на трибунал я тебя не выведу. И я не убежден, что трибунал сохранит тебе жизнь...

– А я жизни не хочу, – очень искренне ответил Сорокин. – Она мне мерзостна и сынишке будет в тягость.

– Ты Прохорова хорошо знаешь?

– Пили вместе...

– Ты сможешь с ним увидаться?

– Не понимаю...

– На Мерзляковском, у Розы, сможешь его принять?

– Смогу. Для дела – смогу!

– Не сорвешься, не переиграешь?

– Нет.

– С тобой будет Роза... Это наш товарищ... Угощение там будет, выпьете как следует, только не сорвись, всю игру тогда нам сломишь...

– Я пить не буду.

– Ну, привет тебе! Раньше-то пил?

– Пил.

– А теперь не будешь? Так нельзя. Ты и сейчас должен будешь с ним пить... И попросишь его от имени Тернопольченко, чтобы они выдали половину суммы драгоценностями. Причем попросишь, чтобы драгоценности были следующие: бриллианты, изумруды и золото – в браслетах, монетах и часах.

Мессингу было важно посмотреть, как себя будут вести Кропотов и Газарян, куда потянутся связи. С этим своим планом он, закончив беседу с Сорокиным, пошел в соседнее здание – к Уншлихту и Бокию.

– Здравствуй, Сорока, – сказал Прохоров, крепко пожимая руку секретарю, – ну что? Оклемаля или еще хрипишь?

– Оклемаля, Константиныч, заходи.

– Я про эту Розы не слыхал. Где она?

– Скоро придет. Новенькая...

– А в работе как? – спросил Прохоров. – Толк понимает?

– Ничего в работе, – ответил Сорокин, пропуская Прохорова в комнату, – работает хорошо, с огоньком.

– Ого, откуда коньяк-то? – протянул Прохоров, оглядывая стол, заставленный бутылками, салом, вареной картошкой и рыбой. – Нич-чего живешь!

– Давай по маленькой?

– Давай. Только сначала расскажи, как прошло? Стенки надежные?

Сорокин кивнул головой налево:

– Там ванная... Не работает с революции, а здесь пустая комната – какой-то военный живет, его в Туркестан угнали. Одни мы тут сейчас.

Именно в этой пустой комнате сейчас сидели помнач спецотдела ВЧК Владимир Будников и Галя Шевкун, игравшая роль Розы. Прослушивался даже шепот. Будников очень хотел курить, но опасался, что в комнату к Сорокину просочится дым, и поэтому сосал потухшую папиросу, то и дело обкусывая мундштук.

– Ну, так как он? – спросил Прохоров. – Не куражился?

– Тяжело было... Сначала я решил, что влип.

– Ты влипнуть не мог. У него доказательств нет.

– Он долгий мужик-то, хмурый. Его толком не поймешь... Дальше вот что было... Ну давай, под салыце.

– Будь здоров. Сорока.

– Твое здоровье, Константиныч...

– Сам чего не пьешь?

– Пью... Я тут и вчера принимал, на вчерашнее-то потяжелее ложится, сам знаешь как...

Ништо-ништо – а потом сразу валит, а Розка – она требовательная... Она сказала: «Если я себя не люблю, то кто меня полюбит? Всех остальных я постелью меряю. Раньше вы нас этим мерили, а теперь свобода – я эмансипированная...»

Прохоров захохотал:

– Ты что, серьезно к ней присох?

– Это ты к чему? На себя потянешь? Пока не отдам. Не проси...

– Как ты уговорился-то с ним?

– Он поедет туда, куда я скажу, и в то время, когда попрошу, а ты или там кто из твоих посмотрят: один он выехал или поволок с собой ребят с Лубянки.

– Это ты ничего придумал. А как он сказал про согласие?

– Сказал, что деньгами все не возьмет.

– Это как? Ему и для родителей гроши нужны...

– Он сказал, чтоб десять миллионов деньгами, а остальные в ценностях. Половину – бриллианты и сапфиры, половину – золото, в браслетах, кольцах и монетах.

Прохоров выпил, подышал салом, рассмеялся:

– Ах, Тернопольченко! Якобинец! Сын Маркса! Каков, а?!

– Ты такой же, – сказал Сорокин. – Не лучше...

Будников быстро взглянул на Галю и кивнул ей головой:

– Пора. Я боюсь, он сейчас развалится... Иди, Галка.

– Ты это чего? – удивился Прохоров. – Я-то здесь при чем?

– При том... К стенке ставишь работягу, когда он хлеба уворует, а здесь миллионами вертишь – нет разве?

– Сорока, ты чего?

– Ничего... Я еще хуже, не обо мне речь...

Дверь отворилась без стука...

– Здравствуй, Сорока, – сказала женщина, сверкнув цыганской, быстрой улыбкой. – Без меня гуляете, мальчишки?

– Это Роза, – сказал Сорокин, – знакомься...

– Ненахов, Константин, – представился Прохоров, мы тут, вас дожидаясь, немного позволили.

Галя взъерошила волосы Сорокину и ласково попросила:

– Миленький, пойдти голову холодной водичкой вымой, тебе лучше станет...

– Пойди освежись, – хохотнул Прохоров. – Добром просим...

Сорокин быстро поднялся и вышел из комнаты.

– На брудершафт? – предложил Прохоров. – Давай, Розочка!

– Я финь-шампань не пью, я только легкое вино себе позволяю.

– Для первого раза можно рюмашечку крепенького – от него голову крутит, как в вихре вальса.

– У меня и с легкого кружится все в голове, Костя.

– Со свиданием.

Он выпил залпом полстакана коньяку, обнял Галю и жадно поцеловал ее. Она хотела было легонько освободиться, но он обнимал ее все крепче – руки у него были сильные, словно тиски. Галя уперлась ему кулаками в плечи, продолжая улыбаться, но только лицо ее побледнело.

– Не сейчас, Костя. Сейчас нельзя. Сорока войдет.

– Он заснет сейчас, – ответил Прохоров и, подняв Галю, понес ее на диван.

– Сорока! – крикнула Галя, чувствуя себя бессильной и жалкой с этим могучим сопящим человеком. – Сорокин!

Будников услышал, как Галя жалобно закричала:

– Ой, пусти меня, пусти!

Будников на цыпочках выскочил из комнаты. Он увидел свет в уборной и шепнул:

– Сорокин, иди обратно в комнату!

Сорокин не откликнулся. Будников нажал плечом сильнее, дверь распахнулась, и он, не удержавшись, ввалился в маленькую уборную, и по лицу его ударили тяжелые ноги: Сорокин повесился на крючке – видимо, только что...

– Помогите! – продолжала кричать Галя. – Володя-а!

Будников распахнул дверь комнаты, увидел Галю и Прохорова рядом и крикнул с порога, ослепнув от ярости:

– Встань, скотина! Руки вверх!

С Прохоровым разговаривали трое: Бокий, Кедров и Мессинг. Прохоров сидел, свесив руки между колен, не в силах унять дрожь в лице. Отвечал он на все вопросы подробно, с излишней тщательностью, вспоминая детали, не имевшие никакого отношения к делу.

Бокий попросил его позвонить в трибунал.

– Что сказать? Напишите, а то еще напутаю.

– Путать не надо. Скажите, что занемогли и будете на работе завтра утром.

Мессинг вызвал трибунал и передал трубку Прохорову.

– Алло, это я, – сказал Прохоров спокойно, хотя лицо его по-прежнему сводило мелкой, судорожной дрожью, – занемог и буду только завтра... Что? Ну, значит, отмените дело.

– Какое дело отменить? – быстро спросил Бокий.

– Это секретарша Шубарина. У меня сегодня дело назначено к слушанию – по волокитчикам из Хамовнического металлического завода: они два пустых вагона неделю продержали.

– Слушай, Прохоров, – сказал Бокий, – в твоих интересах сейчас подъехать к Клейменной... Ты ее знаешь?

– Знаю.

– Так вот, в твоих интересах заехать сейчас к ней и попросить ее вызвать к тебе на Мерзляковский Газаряна. Скажешь Газаряну, что Тернопольченко просит...

– Понял, – перебил его Прохоров, – про золото и камни. То, что Сорока говорил. Хотите посмотреть, куда потащит Газарян... Это я сделаю... Я понимаю, если я не окажу сейчас помощь – меня будет трудно вывести из-под удара... А так – оступился по дурости, не из злого умысла...

Мессинг изумленно глянул на Кедрова. Тот осторожно поднес палец к губам: «Молчи». Бокий согласно кивал головой, слушая Прохорова, и время от времени вставлял:

– Н-да, н-да, верно, верно, Прохоров...

\* \* \*

*«Ревель. Роману.* По сведениям, полученным из Парижа, в Эстонию вновь прибывает глава ювелирного концерна Маршан. Предполагаем его связи с нашим валютным подпольем. Именно его концерн сорвал ту сделку, которую наши представители пытались заключить в Литве. Впоследствии люди Маршана сорвали наши сделки в Лондоне и Антверпене. В Ревеле, однако, Маршан предложил нам через оценщика Гохрана Пожамчи прямой товарообмен – хлеб за бриллианты, по произвольным ценам. Наша задача заключается в том, чтобы заставить Маршана покупать наши бриллианты на доллары и франки, что гарантирует наш выход на арену международной торговли. Вам необходимо установить за Маршаном и его окружением наблюдение, с тем чтобы выявить его связи. Есть предположение, что Маршан поддерживает контакты с нашим подпольем через третьих и подставных лиц. Эти сведения пришли к нам через английские возможности и не содержат каких-либо конкретных данных.

*Бокий».*

## Отец...

В Иркутске старик Владимиров остановился в общежитии культпросвета, неподалеку от краеведческого музея, на берегу Ангары. Помогла ему работать в завалах библиотеки худенькая веснушчатая Ниночка Кривошеина. Она была прикреплена к Владимирову после разговора с замначпуаром-5 Осипом Шелехесом. Отнесся Шелехес к Владимирову настороженно: скептически выслушал яростную речь старика, нападавшего на развал работы в библиотеке, музее, типографиях, и заметил:

– Голое критиканство делу не поможет. Ну, знаю – на полу книги, гниют книги. Ну, знаю – воруют их, топят ими печки. А как надо поступать, если дров нету? Вот вы, как большевик, какое внесете предложение? Я беспартийный.

– То есть?

– Не видали беспартийных? Извольте лицезреть – это я.

– Каким образом вас бросили на политпросвет?

– Мандатным, – ответил Владимиров. – Можете запросить Москву.

– Погодите, погодите... Вы какой Владимиров? Вы отошли от нас в одиннадцатом году?

– Если ссылку можно считать отходом, а борьбу за свою точку зрения – предательством, тогда вы правы. Я тот Владимиров, именно тот. Но я, беспартийный, не терпел бы такого положения, чтобы рукописи тибетцев и монголов, бесценные памятники материальной культуры, гнили под открытым небом! Я бы никогда не потерпел того, что терпите вы!

– Ну, хватит! Я этот разговор прекращаю!

– А я его только начал! Вы не сможете создать государство трудящихся, если не припадете к вечному источнику мировой культуры!

– Мне сначала надо детям учебники напечатать! А потом припадать к источнику! А у нас бумаги – десять рулонов! И в типографии надо печатать приказы по армии, потому как Унгерн под боком и китайцы с японцами!

– Почему не конфискована елизарьевская типография?

– Конфискована.

– Ложь! Не кон-фис-кована! Убеждены ли вы, что вся бумага обнаружена в складских помещениях?

– Убежден.

– Ложь! На чем нэпманы печатают свои афиши? Ваши, ваши нэпманы! Красные торговцы!

– Хватит! Разговор прерываю. О том, как мы с вами решим, сообщу в общежитие.

В тот же вечер Шелехес пошел к командарму-5 Иерониму Уборевичу, двадцатипятилетнему, высокому, в профессорском пенсне, чуть холодноватому, легендарной храбрости и спокойной рассудительности человеку.

Уборевич слушал Шелехеса, кипевшего яростью, изредка кивал головой, вроде бы соглашался.

– И я бы, Иероним, честное слово, на всякий случай посадил эту интеллигентную гниду в ЧК.

– А как быть с интеллигентом по фамилии Плеханов? Что, ЦК не знает об издании его собрания сочинений? Ленин у нас такой добренький, такой доверчивый ничегошеньки не знает, что в стране происходит, да?

– Я тебя не совсем понимаю...

– Ты знаешь, кто были родители Чичерина?

– Нет.

– Дворяне! Крупнейшие землевладельцы. А кто родитель Дзержинского? Помещик. Шляхтич, по-польски. А Тухачевский? Офицер. А мой отец? Истинная революция должна – чем дальше, тем больше – притягивать к себе разных людей. Словом, чтобы не занимать много времени на дискуссию – я ведь дискутирую лишь в том случае, если чего-то не понимаю в иных обстоятельствах, – я, как человек военный, приказываю: зайди в ЧК и попроси, чтобы они выделили человека в помощники Владимирову. Не дубину, который за ним с наганом станет в клозет ходить, а человека грамотного... Интеллигентного, – улыбнулся Уборевич.

Зампред СибЧК Унанян<sup>25</sup> к просьбе Шелехеса отнесся с пониманием и обещал выделить одного из самых талантливых работников.

– Если хочешь – погоди, я сейчас прямо и поищу.

Шелехес остался в его кабинете, а Унанян вернулся через пять минут с худенькой девочкой. Шелехес поначалу не обратил на нее внимания, просматривая читинскую эсеровскую газету, но, когда Унанян сказал, что это Нина Кривошеина<sup>26</sup>, из оперотдела, и ее он может рекомендовать для работы с Владимировым, Шелехес несколько опешил:

– Унанян, что ты?! Он же старый зубр, а она дитя!

– Это дитя работало нелегально у Колчака, принимало участие в ликвидации банды Антипа, а главное – оно гимназию окончило! Понял? Больше у меня никого нет. Хочешь – бери.

– Вы мною торгуете, как лошадь, – сказала Нина, – или рабыней, Сергей Мамиконович.

– Ну, прости, товарищ! – ответил Унанян, рассмеявшись. – Но как мне этому Фоме неверному объяснить, что вы – наша любимица.

– А зачем объяснять? – спокойно удивилась Нина. – Если товарищ обратился к нам с просьбой, он должен уважительно отнестись к предложенной ему кандидатуре.

Тем же вечером Нина пришла в общежитие и сказала Владимирову:

– Добрый вечер, Владимир Александрович, меня прислали к вам в помощь. Зовут меня Нина.

– Здравствуйте, милая Нина. Садитесь пить чай. Я здешнему сторожу, Никодиму Васильевичу, трактую Библию, а он снабжает меня чаем и воблой. Я жаден только до одного продукта: вяленая рыба меня погубит.

– Я вам завтра притащу штук десять. Брат рыбу на Ангаре ловит. Я люблю через вяленых лещей на солнце смотреть – оно желтое...

– Ах, душечка! – обомлел Владимиров. – Как хорошо вы это сказали! Солнце сквозь вяленого леща! Нас, русских эмигрантов, узнавали в Швейцарии по тому, как мы с пивом ели вяленую рыбу. Немцы и французы не могли этого понять и ужасно неэстетично чистили рыбу. Ножичком и вилочкой!

– Но ведь рыбу ножом нельзя!

– Все можно, – ответил Владимиров, отчего-то вздохнув. – Вы уроженка этих мест?

– Да. Чалдонка.

– Экая вы светлая... Прямо-таки солнечная. И брови вразлет, сибирские. Моя жена была сибирячка, я женился, когда был ссыльным поселенцем в Минусинске.

Владимиров достал из кармана потрепанный, изопревший плоский бумажник и вынул несколько фотографических снимков.

– Вот она, – протянул он Нине старую карточку.

– Красивая...

– А это мой сын, Всеволод.

<sup>25</sup> Расстрелян в 1936 г. – Ю. С.

<sup>26</sup> Расстрелян в 1936 г. – Ю. С.

Нина взяла фотографию и обмерла: на нее глянул ротмистр Исаев Максим Максимович, из колчаковской пресс-группы. Нина тогда была в комсомольском подполье, и ребята хотели при отступлении Колчака расстрелять или захватить главных адмиральских щелкопёров: Ванюшина и Исаева. Но Ванюшин ушел с поездом семеновцев в самом начале двадцатого года, а Исаев тогда исчез, словно в воду канул.

– И сын очень красивый, – сказала Нина. – Его как звать?

– Всеволод.

Нина еще раз посмотрела фотографию: ошибиться она не могла.

– У него очень волевое лицо, – сказала она.

– Да, он необыкновенно волевой человек.

– А он в Москве?

– Мы вернулись из Швейцарии в семнадцатом. С тех пор он в Москве. Правда, он уезжает часто и надолго.

В это время дверь отворилась, и вошел старик с большим чайником и поленьями под мышкой. Он отворил ногой заслонку буржуйки и сунул туда три поленца. Дрова были сухие, сразу занялись.

– Весна нынче тяжелая, с задержью, – сказал Никодим Васильевич, – давно так не цепляло зимой за светило.

– Это все Бог, – улыбнулся Владимиров и чуть подмигнул Нине. – Это Он мстит сынам своим.

– Разве нет? Порушена жизнь, и месть за нея будет воздана по всей строгости правды...

– Старая ведь жизнь порушена... Старая...

– А что в ней было плохого – в старой?

– Я должен обратить вас к «Откровению Иоанна». Помните, у него, по-моему в двадцать первой главе, есть великолепные строки: «И сказал сидящий на престоле: се, творю новое!.. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идоло-служителей, и всех лжецов – участь в озере, горящем огнем и серою...»

– Я вот чего, Аляксандрыч, в толк не могу взять... Вы мне сказали, что, мол, наш великий вождь, товарищ Ильич, – правый, когда рек: «Вера, мол, что опейный табак для трудящихся». А вы вроде как чтите Библию.

– А очень просто, – ответил Владимиров, положив Нине еще один кусочек сахара. – Библия – великолепный памятник народной культуры. Народ мудр, Никодим Васильевич. Надо бы – и я думаю, мы это в будущем сделаем, – ходить по деревням, по рабочим кварталам и, не торопясь, не по-газетному, а серьезно, записывать разговоры людей.

– Запишут – и в подвал ЧК! Там выдадут за энти разговоры!

Владимиров расхохотался; Нина тоже заставила себя посмеяться.

– В ЧК, говорите, – хохотал Владимиров. – Да, вполне возможно, тут спора нет! Однако если «Правда» печатает рассказ контрреволюционера Аверченко, то, видно, ЧК перестала бояться разговоров...

– А ваш сын, – спросила Нина, – не филолог?

– Он неплохо пишет, хотя слушал курс физико-математического факультета.

– А он что, статьи пишет? Или рассказы?

– Он писал стихи, но мне их никогда не показывал. В Берне, мальчишкой, пробовал себя как репортер в газетенках...

– Аляксандрыч, – продолжал гнуть свое сторож, – а вот ты когда из Библии-то читал, так ведь там не сказано, что Бог звал против законной власти...

– Ничего подобного... Тот же Иоанн говорил: «Сколько славилась она, – это он о Вавилонском царстве, – и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей!.. За то придут в один день на нее казни, смерть, и плач, и голод, и будет она сожжена огнем, потому что силен

Господь Бог, судящий ее... И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожаров...»

– Такого батюшка нам не излагал...

– Значит, он Библии не знает и не понимает, что это свод мечтаний несчастных, которые издревле жаждали справедливости...

– Владимир Александрович, – спросила Нина, – а вы на антирелигиозных диспутах выступали? Нам бы устроить, а?

– С удовольствием. Принимаю перчатку от любого теолога.

– Какую перчатку? – не понял Никодим Васильевич.

– Это так вызывали на дуэль, – объяснила Нина, – когда люди решали стреляться друг с другом. Один из них кидал к ногам другого перчатку.

– Так подыми да и не стреляйся, – сказал сторож. – По-любовному, что ль, нельзя? Все бы стреляться людишкам, все бы стреляться. Колотим друг друга, а нешто белый враг Расее? Мой брат белый был; мужик, подчиненный приказу, – как ему скажут, так он и поступит. Так рази он враг Расее-то? Нешто всем русским сговориться вместе нельзя было?

– Иногда это очень трудно сделать, – ответил Владимиров, отчего-то вздохнув.

– А где теперь ваш брат? – спросила Нина.

– Убили его бандиты...

– Кого вы называете бандитами? Белых или красных?

Никодим Васильевич внимательно посмотрел на девушку и медленно ответил:

– Бандитом, доченька, я считаю бандита, потому как он злодей.

– Ниночка, – сказал Владимиров, – я провожу вас, уже поздно.

Как Нина ни отговаривалась, Владимиров пошел ее провожать. Жила девушка далеко, возле вокзала, но ей сейчас надо было обязательно в ЧК, чтобы рассказать Унаняну об Исаеве, белом офицере, который оказался сыном этого доброго старика.

Поэтому девушка попрощалась с Владимировым возле двухэтажного дома в центре, неподалеку от чрезвычайки, и зашла в подъезд. Подождав, пока старик уйдет, Нина выглянула из парадного, убедилась, что Владимиров направился к себе, и побежала в ЧК.

Владимиров же оглянулся потому, что ему было приятно вспоминать девичье нежное личико. Удивленный, он увидел, что Нина забежала в дом, третий от того, где они только что попрощались. Он решил, не испугал ли кто девушку в ее подъезде, и, сжимая в левой руке свою сучковатую палку – правая у него была три года назад парализована, – быстро двинулся обратно. Он распахнул ногой дверь, достал спичку, осветил все вокруг, поднялся на второй этаж: здесь никого не было.

Владимиров недоуменно подошел к тому дому, куда забежала Нина.

На фронтоне, возле двери, обитой клеенкой, он увидел надпись: «Всесибирская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности».

Владимир Александрович открыл дверь. Дорогу ему преградил часовой с винтовкой. Нины и здесь не было.

– Пропуск, – сказал часовой.

– Тут Ниночка, девушка...

– Кривошеина? Она вас что – вызывала?

– Нет, – вздохнул Владимиров, – не вызывала.

Он вышел на улицу. Морозило. Луна была низкая, белая. Лед на лужицах искрился синими узорами. Перекрикивались паровозы на вокзале. В городе было тихо и пусто.

Сначала Владимиров почувствовал гнев. Потом ему стало противно. Он хотел было уйти, но после решил дожидаться эту агентшу и посмотреть ей в глаза.

Нина долго составляла шифровку в Москву, потом сидела в кабинете у Сергея Мамиконовича Унаняна и рассуждала вслух – будто с собою:

– Он такой милый, этот Владимир. Я сейчас себе места не нахожу, словно я предательница и дрянь.

– Вы бы ему поверили?

– По-человечески – да.

– Как это можно делить себя на человеческое и нечеловеческое? Я ставлю вопрос конкретно.

– Я не знаю, что из Москвы ответят... Если скажут, что им известно о его сыне... Если нам скажут, что он не скрывал этого...

– Тогда, – перебил ее Унанян, – можно верить даже в черта с рогами! Нет, изволь ответить себе, не уповая на Москву!

Выйдя из ЧК, Нина увидела Владимирова, и ей сразу стало легче, потому что она решила, что старик следил за ней. Он пересек мостовую.

– Я обязан сказать вам, что вы нечестный, испорченный человек, хотя еще очень маленький! Я не следил за вами; мне показалось, что вас кто-то испугал в том подъезде, только поэтому я вернулся... Я отвык от того, чтобы «проверяться», поскольку мой сын работает у Дзержинского и мне, видимо, верят...

– Что?! – перебила его Нина. – Что вы сказали?!

И, неожиданно для самой себя, она поднялась на цыпочки и стала целовать Владимира Александровича быстрыми, детскими поцелуями в лоб, в холодный нос, в губы и колючие щеки...

## ...И сын

Редактор газеты «Народное дело» Григорий Федорович Вахт, предложив посетителю присесть, раскрыл конверт и быстро пробежал письмо.

«Милый Григорий! Податель этой весточки – Максим Максимович Исаев (быть может, Вы с ним встречались в Цюрихе, он там был в эмиграции, совсем еще юным). Я и мои друзья настояли, чтобы Исаев ушел из России. Пожалуйста, окажите ему содействие и помощь.

Искренне Ваш Урусов».

Вахт перечитал письмо дважды; князь Урусов, бывший товарищ министра Временного правительства, арестованный, судимый и оправданный трибуналом, был человек широко известный в эмиграции и, несмотря на фразочку в чекистском отчете о процессе – «в связи с раскаянием Урусова и желанием его сотрудничать с Советской властью из-под стражи освободить», – по-прежнему уважаемый. Никто не верил, что Урусов добровольно согласился на сотрудничество с большевиками. Поэтому фраза в отчете о процессе вызвала еще большее сочувствие к несчастному князю, против которого, по мнению эмиграции, чекисты применили особо садистский прием – компрометацию в глазах свободно думающей России.

– Как добирались, Максим Максимович? – спросил Вахт.

– На животе, – улыбнулся Исаев, – мимо пограничников.

– Документы у вас как?

– С документами плохо.

– Понимаю. Рассчитываете на помощь?

– Да.

– Вы ведь не член нашей партии?

– Я беспартийный, думаю, эсеры и октябристы кончат свои дискуссии в Москве, когда соберется Учредительное собрание... Нет?

– Мы придерживаемся иной концепции...

– Поскольку планы у меня конкретные, хотелось бы подумать о приобретении хороших документов.

– Это почти невозможно.

– Тогда, вероятно, вы посоветуете, как разумнее поступить: сжечь мои бумаги и обратиться в полицию за новыми? Или месяца два можно прожить на нелегалке?

– А потом?

– Я не рассчитываю здесь надолго задерживаться.

Вахт поднялся из-за стола и прикрыл маленькую скрипучую дверь, которая вела в соседнюю комнатенку, где сидели три человека – весь редакционный коллектив органа эсеров «Северо-Западной провинции России».

– Там, по-моему, посетители, а при них о возвращении на родину говорить не следует.

– Вы правы.

– Урусов не написал, отчего вам пришлось уйти...

– За мной начали топтать...

– По поводу заявления в здешнюю полицию... Мы, признаться, такого метода не пробовали... Вы сможете рассказать им о ваших последних годах: где жили, чем снимались?

– Жил в Москве и в Сибири, работал при штабе Колчака, в его пресс-группе, потом скрывался.

– С кем вы работали в пресс-группе Колчака?

– С Николаем Ивановичем Ванюшиным.

– Ванюшин – личность калоритнейшая, – ответил Вахт, – и хотя мы с ним идеологические противники, но по-человечески давно дружны.

– Да... Жаль его, – сыграл Исаев, знавший, что Ванюшин сейчас в Харбине, – погиб он нелепо.

– Он жив, Господь с вами, – сразу же ответил Вахт. – Мы недавно имели от него весточку из Китая...

– Не может быть?! А мне Поплавский клялся, что он умер от тифа... Адрес у вас есть?

– Я дам вам адрес, – ответил Вахт, и впервые за весь разговор его глаза смягчились, утратив настороженную подозрительность. – Поплавский, кстати, как поживает?

– У меня нет связей с ЧК, – ответил Максим Максимович. – Будь я связан с ними, я бы ответил вам, как себя чувствует человек в Лубянском подвале...

– Когда это случилось? – спросил Вахт, и Максим Максимович понял, что редактору известно об аресте Поплавского. И он еще раз убедился в том, что линию свою раскручивает правильно, уважительно подставляясь под проверку эсера.

– Когда это случилось? – переспросил Максим Максимович. – Сейчас я отвечу точно – весною...

– Вы, вероятно, голодны, Максим Максимович?

– Не скрою – весьма. Не смею вас обременять финансовыми делами: у меня есть два бриллианта. Как здесь – легко реализовать драгоценности?

– Никогда не имел драгоценностей... А вот обедом, пожалуйста, не отказывайтесь, угощу.

Максим Максимович отметил, что Вахт повел его не в тот ресторан, который был расположен рядом с редакцией, а в маленькое полуподвальное кафе.

– Тут перекусим, – сказал Вахт, – здесь дают блины с творогом и сливки с вареньем.

Исаев кивнул на газету, торчавшую из кармана Вахта.

– Вы не позволите проглядеть свежий номер? Мы там без вольного слова несколько заволосатели и омамантились.

Исаев заметил, как лицо редактора мгновенно озарилось гордостью – он с готовностью протянул Исаеву газету, вздохнув:

– Хочется жить, когда знаешь, что труд твой нужен.

Исаев быстро просмотрел газету: «По нашим данным, в этом месяце цены на псковском рынке были следующими: фунт хлеба – 450–500 рублей, пуд картофеля – 4500 рублей, фунт свинины – 5000 рублей, бутылка молока – 700 рублей, десяток яиц – 3500 рублей»; «Вчера в Ревель прибыл новый транспорт с золотом из России – всего 600 пудов. Вагон подан в гавань, где золото было перегружено на пароход “Калевипоэ”. Пароход следует в Стокгольм, а оттуда, по имеющимся сведениям, в Берлин, где золото будет перековано в соврубли»; «Представитель одной из великих держав прибыл в Москву, чтобы вести переговоры о реорганизации Советского правительства. Смысл предстоящей организации – смещение Ленина и Троцкого; вся полнота власти будет сосредоточена в руках нового премьера Красина. Вероятно, потребуют удаления из правительства наиболее экстремистских элементов. В случае, если эти условия будут приняты большевиками, великие державы начнут переговоры с Кремлем».

– Неужели у вас нет серьезных информаторов? – поморщился Исаев. – Григорий Федорович, милый, зачем выдавать желаемое за действительное? И не говорите мне, что данные из Пскова вы получили от верного информатора... Я сюда шел через Псков. И на базаре покупал фунт хлеба. Цены даны полугодовой давности, сейчас совсем иные... И никто не приезжал в Москву из представителей великих держав с предложением насчет Красина.

Принесли блинчики. Исаев набросился на них с жадностью.

Дренькнул звоночек у двери, и Вахт воскликнул – с деланным удивлением:

– Лев Кириллыч, здравствуйте, какими судьбами?!

Подняв голову, Исаев увидел Головкина: он узнал его по фотографиям, которые хранились в ЧК. Головкин был связан с эсеровской контрразведкой.

- Знакомьтесь, гражданин Исаев – из России. А это наш журналист Лев Головкин. Головкин подозвал толстушку в туго накрахмаленном фартучке:
- Кофе, два сухарика и воды.
- Хотите блинчиков, Головкин? – спросил Вахт.
- Нет, благодарю.
- Максим Максимович работал с Ванюшиным в пресс-группе Колчака в девятнадцатом, – сказал Вахт, – может быть, попросим его как нашего коллегу выступить с заметками в газете?
- Это было бы прекрасно... – сказал Головкин, поблагодарив кивком головы толстушку, принесшую ему кофе.
- Я вынужден отклонить это лестное предложение.
- Почему?
- Потому что я намереваюсь возвратиться на родину в самом недалеком будущем.
- У гражданина Исаева есть рекомендательное письмо от Урусова, – заметил Вахт.
- Как себя чувствует князь? – поинтересовался Головкин.
- Плохо.
- Но он сотрудничает с большевиками?
- Что бы делали вы на его месте?
- Каким образом вы с ним встретились?
- В коридоре Нарбанка. Он там и написал мне эту записочку.
- Допустим, вы получите временный вид на жительство. А что дальше?
- Дальше я рассчитываю на помощь друзей.
- Наших или иностранных?
- Всяких.
- Не стоит вам улититься, Максим Максимович, – сказал Головкин, – кроме как к нам, идти здесь не к кому, «Последние известия» – черносотенные монархисты; они вам помогать не станут.
- Есть комитет помощи беженцам... Вырубов, Оболенский – я думаю, они не столь перепуганы, – откровенно усмехнувшись, сказал Исаев, – или их судьба так же горестна?
- Комитет беженцев занят иными задачами: они не преследуют целей политической борьбы, они смирились с поражением.
- Значит, в Эстонии есть только одна сила, серьезно думающая о борьбе?
- Вахт и Головкин ответили одновременно.
- Нет, отчего же, – сказал Головкин.
- Конечно, мы, – сказал Вахт.
- И вдруг Головкин захохотал; он сгребался в три погибели, вытирая слезы, мотал головой, а потом, успокоившись, сказал:
- Конспираторы дерьмовые! Тени своей боимся!
- Исаев закурил:
- Сейчас у меня внутри словно что-то обвалилось, Лев Кириллыч. Словно накипь в чайнике смыло... «Журналист, коллега...» Думаете, что мы дома так ничего про вас и не знаем?
- Застегнув пуговицу на пиджаке, словно собираясь подняться, он добавил:
- Меня уполномочили вам сказать, чтобы вы были особо осторожны со всеми, кто приезжает из Совдепии, и с людьми, которые с ними здесь связаны.
- Вы думаете, много людей из Совдепии пойдут на связь с нами? – спросил Вахт.
- Я высказал пожелание друзей, которые знают и о вашей работе, и о том, каким журналистом на самом деле является Лев Кириллыч.
- Средним, – улыбнулся Головкин. – Максим Максимович, я был рад видеть вас, и, если вы сможете надежно легализоваться здесь, я бы просил вас зайти к нам еще раз – перед отъ-

ездом в Совдепию... Если, конечно, не передумаете возвращаться – после здешних-то блинчиков...

– Если и вы надумаете поехать туда – готовьтесь, я загляну к вам... Маленькая разница в приставках, а смысл-то эк меняет: «пере» или «на-думаете», а?

– Если этот разговор серьезен, тогда я буду готовиться... Я запрошу моих друзей в России о крове и документах заранее, а не столь скоропалительно, как вы...

– Скоропалительно приехал писатель Никандров и оказался в тюрьме, – заметил Вахт, – а Воронцов по его документам отправился в Совдепию!

Максим Максимович вспомнил радиogramму Севзапчека о переходе эстонской границы неизвестным, который, отстреливаясь, убил двух пограничников, эстонца и русского, – это было за неделю перед его отъездом из Москвы.

– О том, что Воронцов перешел границу, – жестко сказал Головкин, – я бы с радостью сказал «товарищам», не будь они мне так ненавистны. Жаль только, что судить Воронцова станут как врага трудового народа, – он хмыкнул, – то есть как нас. Его надо просто стрелять. Он им, правда, в Совдепии кровь пустит – пожжет и побьет власть...

Попрощавшись с эсерами, зная, что те наверняка пустят за ним «хвост», Исаев начал крутить по городу. Хвост он определил довольно быстро: его «вели» два мальчика, видимо студенты. Вели они его неумело, упиваясь своей работой, и поэтому он их довольно скоро замотал.

Через два часа в офисе «Смешанного русско-эстонского общества» раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос попросил русского «содиректора».

– Господин Шорохов, я бы просил вас рассказать мне условия возвращения на родину, если, конечно, у вас есть на это время и желание.

– Хотя время у меня есть, – ответил Шорохов, – но я не правомочен отвечать на подобные вопросы. Извольте обратиться в консульский отдел посольства в часы, обозначенные для приема...

Этот обмен фразами, ничего не говорящими полицейским, подслушивающим телефонные разговоры смешанной комиссии, был паролем и отзывом для Шорохова и Всеволода Владимирова.

В тот же вечер Шорохов, после встречи с Исаевым, передал известному ему человеку коротенькое сообщение для шифровки: «Есть предположение, что человек, перешедший границу во время перестрелки, был Воронцов Виктор Витальевич. На этой версии настаивает 974-й».

## О, эти русские...

Немецкий резидент Нолмар последние дни возвращался домой очень поздно. Неделю тому назад его навестил Клаус Дольман-Гротте. Был он человеком странным со студенческих лет: он, например, категорически отвергал лестные предложения начать работать в министерстве иностранных дел или пойти на службу в генеральный штаб. Приглашали его туда настойчиво, и не только из-за протекции: к двадцати трем годам он знал семь языков – финский, шведский, эстонский, венгерский, польский, латышский и русский. Этими языками он владел в совершенстве, но собой отнюдь не был удовлетворен: он считал необходимым изучить еще румынский, английский и датский.

Получив диплом бакалавра филологии, он начал работать низкооплачиваемым чиновником отдела рекламы в концерне «И.-Г. Фарбениндустри». Был он по-прежнему тих, незаметен, сторонился пирушек и мужских компаний, краснел, когда при нем рассказывали анекдоты и смачные буршеские истории, не пил, не курил и жил в одиночестве – затворником. Потом он уехал в Варшаву. Там он несколько раз встречался с Нолмаром, который работал в посольстве и к своему студенческому приятелю относился снисходительно, как и подобает относиться дипломату к мелкому торговому агенту.

– Ты чувствуешь, как мы стареем? – спросил тогда Дольман-Гротте. – Я это ощущаю особенно остро, когда просыпаюсь.

– Ты пессимист? – усмехнулся Нолмар.

– Нет, нет, – покачал головой Дольман-Гротте, – еще пять лет назад я находил у нас на чердаке куклы матушки... Это были смешные куклы в кружевных панталонах и чепчиках. А теперь я перерыл весь чердак и кукол не нашел. Время стареет вместе с нами. И победить его может только могущество...

– Какое?

– Могущество нельзя определить словом «какое». Могущество есть могущество. Память – тоже могущество...

– Память? Как звали невесту твоего прадеда? Ты помнишь? – А что было построено Рамзесом в Египте? Или Фридрихом Великим в Берлине? Помнишь. И дети твои будут помнить.

– Детей еще надо завести. Ты, кстати, женат?

– Нет. А ты?

– Нет.

После этой встречи они долго не виделись. А встретились – неожиданно для Нолмара – в Ревеле. Он пришел к послу, но секретарь остановил его:

– Сейчас нельзя... У посла господин советник Дольман-Гротте.

Однако Дольман-Гротте сам нашел его: запросто зашел в комнату, дружески обнял, забросал вопросами, никак не подчеркивая своего теперешнего превосходства, и пригласил: «Если, конечно, ты не до конца замучен своими хитрыми делами, поужинаем вместе в “Савое”».

Он занимал на четвертом этаже номер, состоявший из трех комнат: здесь обычно останавливались министры или члены семей коронованных особ, когда они приезжали с неофициальными визитами. Стол был накрыт на три персоны.

Ты не будешь возражать, Отто, если с нами побудет милая женщина, которая научилась не мешать мужчинам? – спросил Дольман-Гротте.

Нолмар еще раз испытал чувство острого унижения, когда он увидел красавицу, вошедшую в гостиную, в низко декольтированном бальном платье.

Но Дольман-Гротте и на этот раз помог ему. Он сказал:

– Фройляйн Барбара, я хочу представить вас моему другу Отто Нолмару.

Нолмар отметил для себя, что он бы не смог так жестко и властно разговаривать с этой сумасшедше-красивой, видимо очень холеной, бабой, а этот тихоня говорил, словно резал железо: сухо, деловито и так, что возразить ему было нельзя. И вот это проклятое «возразить ему нельзя» вошло в Нолмара, и он понял, что это случилось, и теперь он уже не сможет ни возражать Дольман-Гротте, ни шутить с ним, и он устало сказал себе: «Я проиграл, и мне теперь надо верно себя вести, чтобы он хоть не сразу понял, как жестоко я проиграл».

– Ты по-прежнему не пьешь? – спросил Нолмар.

– Знаешь, нет, Отто. Ты должен простить меня, но теперь это вопрос принципа.

– Об остальном я не спрашиваю, – понимающе улыбнулся Нолмар.

– Здесь ты ошибаешься.

Нолмар лукаво посмотрел на фройляйн Барбару и перевел взгляд на Дольман-Гротте.

– Ты верно понял, – ответил тот, – невеста уступила мне своего секретаря, фройляйн Барбару, но я отдал ей моего шофера на время этой поездки... Мне бесконечно совестно перед тобой, что я не пью, но ты всегда умел пить здорово и вкусно, а за меня будет пить наша очаровательная Барбара...

После получаса веселого застольного разговора Дольман-Гротте сказал:

– Поскольку милая Барбара присутствует на всех наиболее серьезных переговорах, – он легко улыбнулся женщине, – и, боюсь, информирует о них мою невесту, фройляйн Ильзе Крупп, я стану говорить при ней о нашем предложении, Отто. Нет смысла возвращаться к мимолетному обмену мнениями о смысле могущества. Я был, верно, не прав тогда. Это все было от страха перед смертью и стремительностью старения. Дело, которое пожирает тебя, – вот единственное спасение от химер и страхов. Государственная политика – дело ли это? И да и нет. Она вне логики. Она абстрактна и в то же время субъективна. Я беру быка за рога, Отто. Мы ищем свои глаза и уши повсюду. Особенно в малых странах, пограничных с Россией, – а в России Германия заинтересована: не только в близком, но и в далеком будущем. О России разговор особый, Отто. Мы заинтересованы в русской инженерии – они бесконечно талантливые теоретики, их инженерная мысль свободней и дерзновенней нашей. Они не умеют работать и никогда не научатся этому в силу своей лени, но именно потому, что они ленивы, их фантазии, особенно, повторяю, теоретически-инженерные, нас очень интересуют. Говорят что и в Ревеле и в Риге много бедствующих русских... Несчастливая нация...

Фройляйн Барбара пододвинула Дольман-Гротте папку с вырезками, и он взял наугад несколько объявлений из «Последних известий».

– Вот, изволь: «Даю уроки по высшей математике, физике и химии на трех языках за любую плату». Или: «За небольшое вознаграждение приват-доцент С.-Петербургского университета дает уроки по математике и физике». И обратный адрес, видишь? «Обращайтесь в газету с запросами на мое имя». Я прошу тебя, Отто, помочь Германии. Естественно, все твои возможные затраты на встречи, корреспонденцию, приемы и прочую надоедливую, но необходимую бюрократическую муру будут компенсированы. Мы предлагаем к твоим тремстам долларам еще пятьсот наших. Если ты согласен, мы сейчас же подпишем договор на твое сотрудничество в «И.-Г.» в качестве консультанта по России и прибалтийским областям.

На следующий день после этого разговора Нолмар начал действовать. Он зашел к редактору-издателю «Последних известий» Михаилу Генриховичу Ратке, к Вахту в «Народное дело», к Львову в «Комитет помощи беженцам» и договорился об организации встреч с русскими инженерами и профессорами. Причем, естественно, ни о какой денежной компенсации Львову или Ратке речи и не шло. Отто Васильевич так построил беседу, что те считали себя ему обязанными: наконец-то несчастной русской интеллигенции пришли на помощь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.